



РОССИЯ
ДЕРЖАВНАЯ

ВЛАДИСЛАВ
БАХРЕВСКИЙ

ТИМОШ
И
РОКСАНДА



Долгий путь к себе

Владислав Бахревский

Тимош и Роксанда

«ВЕЧЕ»

2020

Бахревский В. А.

Тимош и Роксанда / В. А. Бахревский — «ВЕЧЕ»,
2020 — (Долгий путь к себе)

ISBN 978-5-4484-8172-7

Тимош, сын украинского гетмана Богдана Хмельницкого, обещал отцу, что найдёт себе особую невесту, принцессу, как из сказки, и сдержал слово. Нашлась для него принцесса – дочь молдавского князя Василия. Отец строит планы, чтобы самому держать во власти Украину, а сына посадить в Молдавии. Тогда не страшны станут заносчивые польские паны, другой с ними разговор будет. Но велика плата за исполнение такой мечты. Чтобы сбылась, придётся Тимошу воевать, рисковать головой, а ведь только в сказках витязь непременно преодолевает все преграды на пути к счастью, остаётся целым и невредимым... Этот роман – вторая часть дилогии Владислава Бахревского «Долгий путь к себе», посвященной трагической судьбе Украины XVII века. Яркие характеры исторических лиц воссозданы уверенной рукой известного автора.

ISBN 978-5-4484-8172-7

© Бахревский В. А., 2020

© ВЕЧЕ, 2020

Содержание

Часть первая. Княжна Роксанда	6
Глава первая	6
1	6
2	7
3	9
Глава вторая	10
1	10
2	12
3	14
4	15
Глава третья	17
1	17
2	19
3	19
4	21
5	22
6	24
7	25
8	26
9	26
Глава четвертая	29
1	29
2	30
3	31
4	32
5	33
6	35
Часть вторая. Тимош и Тимошка	37
Глава первая	37
1	37
2	39
3	40
4	41
5	42
6	44
7	44
8	46
9	47
10	48
11	49
12	50
13	52
14	53
15	56
16	56
17	58

Глава вторая	61
1	61
2	61
3	62
4	63
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Владислав Анатольевич Бахревский

Тимош и Роксанда

Часть первая. Княжна Роксанда

Глава первая

1

В алых турецких шальварах, в алом невесомом платье, в алой чалме, она была как чудо-птица, купленная за морем ради пушего великолепия котнарских садов господаря Лупу.

Алый лепесток пиона,
Алою зарей рожденный,
Рыцарь, красоту мою узри!
Рыцарь, от тоски по мне умри!

Пела и хохотала, как пастушка. Вельможные подруги, под стать ей красотой, но одетые по строгим домашним правилам, напуганные вольным ее смехом, ее беспашашной радостью, легкостью, не в силах были устоять перед заразной свободой, подхватили игру и ответили княжне песней, поддразнивая:

Лист ореха, лист зеленый,
Соком жизни напоенный,
Правды пред тобою не тая,
Признаюсь, судьба горька моя.
Я в тоске, но не по дому,
А по страннику чужому.
Он пришел из дальних мест
Отдохнуть в волшебный лес...

– Вы не знаете своей Роксанды! – Княжна с нарочитым возмущением сверкнула карими глазами и, кружась, пропела:

Сердце не устало биться,
Вольно я живу, как птица.
Клетка золотая не манит,
Мне дороже крылышки мои.

Княжна Роксанда сбросила башмачки, сбросила платье и шальвары, взмахнула руками, как взправдашными крыльями, и бросилась в воду.

Две подруги тотчас последовали за нею, а третья не осмелилась.

– Ильяна! А ты что же? Вода ласковая, как парное молоко.

– Я постерегу ваши одежды, княжна! Вы ведь знаете, Фэт-Фрумос прячет платье самой прекрасной феи.

– Милая Иляна! О том ли нам печалиться! Нам надо о другом вздыхать: такие храбрые молодцы, как Фэт-Фрумос, только в сказках. – Княжна выскочила из воды. – Эй, Фэт-Фрумос, спеш! Забирай эти жалкие тряпки! Мы оденемся в платье, которое поистине достойно нашей красоты. Эмилия, за работу! Сплети нам венки из виноградной лозы!

– Слушаюсь, госпожа! – поклонилась служанка.

Роксанда первой возложила себе на голову венок, оплела тело лозой с тяжелыми гроздьями зеленого котнарского винограда.

– Вот теперь можно и на бал! Хоть к самому королю Речи Посполитой!

– Княжна, вы совершенно не боитесь наготы! – воскликнула в искреннем смятении боярышня Иляна.

– Я и впрямь не боюсь самое себя! Меня научили любить свое тело в серале.

– Боже мой! Но если какой-нибудь охальник подглядывает за нами?

– Дорогая Иляна! Не пугайся за его глаза, он не ослепнет. Нам Богом ниспослан дар восхищать, но этот дар, увы, не вечен. В Серале меня учили радоваться красоте и радовать красотой! Ах, как я благодарна моему отцу за этот котнарский виноградник! Здесь я – лань, ласточка, золотой дождь, послушная лоза, ураган! – Она кинулась в воду, поплыла, барабаня руками и ногами, взбивая жемчужную пену.

Девушки с ужасом слушали княжну, но им хотелось слушать эти странные речи пленницы серала. Роксанда жила в Истамбуле заложницей.

– Ах, что это за купание! – рассердилась вдруг княжна. – В Истамбуле мы плавали в море.

– В море?! – пискнула Иляна. – Но разве из Серала выпускают?

– В Серале все возможно, надо только найти способ.

– Госпожа, выходите из воды! – строго приказала служанка Эмилия. – У вас к приезду князя Вишневецкого волосы не успеют просохнуть.

– Ничего, я прикажу моему брату Солнцу сиять сильнее, и он не подведет свою сестричку! Слышишь, братец? Гори, пылай во славу красоты девичьей! – Роксанда выскочила из воды и, простирая руки к солнцу, побежала вокруг бассейна. – Слышишь, братец? Лови!

Она сорвала венок и кинула его в небо. Венок упал в воду, и тяжелые грозди утянули его на дно.

2

Мода на котнарские виноградники превратила маленький городок на холмах возле столичных Ясс в золоченый курятник, где титулованные курочки поджидали крутогрудых петушков, по жилам которых лилась небесно-голубая кровь лучших родов Молдавии, Польши, Литвы, Семиградского княжества.

Всякий, кто заботился о будущем фамилии и у кого было много тугих кошельков, спешил купить в Котнаре если не виноградник, то хоть кусочек земли. Виноградники и земля с каждым годом дорожали, цены запрашивались немыслимые, но охотников купить или перекупить местечко не убывало.

Следуя моде, теплое время года княгиня Домна Тодора, мачеха княжны Роксанды, жила в Котнаре и теперь принимала гостей падчерицы. Князь Дмитрий Вишневецкий приехал с новоиспеченным владельцем одного из котнарских виноградников, сыном коронного гетмана Речи Посполитой Николая Потоцкого, его милостью паном Петром Потоцким. Княгиню Домну Тодору сердила выходка падчерицы: знала, что князь Дмитрий будет к обеду, и – вот, пожалуйста, опаздывает. Не стыдась, мучит совершенно потерявшегося от любви юношу. А ведь князь Дмитрий уже не прежний мальчик с восторженными черными глазами.

Княгиня, не зная, где Роксанда и пожелает ли она явиться, выигрывая время, показывала гостям своих чудесных птиц.

В позолоченных клетках порхали птицы, поражающие невероятной красотой оперения. Птицы были крошечные, но были и большие: фазаны, сойки, куропатки, декоративные куры.

– Когда я гляжу на ваших птиц, мне всегда кажется, что предо мною пойманная радуга, – изысканно похвалил любимую утеху княгини Домны Тодоры князь Вишневецкий, а Петр Потоцкий только поморщился: ему претил запах птичьего помета.

Княгиня заметила это и нашла Потоцкого человеком грубой души, но она была женою мудрейшего Лупу.

– Мне стыдно показывать вам бедные наши кущи, – обратилась она к Потоцкому, – я много слышала о великолепии польских парков.

– Княгиня, всему миру известно, что лучшие парки в Литве, у Радзивиллов, – ответил пан Петр. – А такого парка, как в Несвиже, я нигде не видал. В Крженицах, у короля Владислава, было полторы тысячи оленей, у Радзивиллов же всего больше: оленей, лосей, бобров. Как у них готовят бобровые хвосты! А беседки? Они затейливы и великолепны. Мне показывала парк ваша старшая падчерица, княгиня Елена. Ей дана не только красота, но и великое сердце. Олени выходили из леса, чтобы получить не подачку, а ласку ее беломраморной руки.

– Я молю Бога, – княгиня Домна Тодора быстро перекрестилась, – чтобы моя младшая дочь, наша певунья Роксанда, нашла свое счастье в Речи Посполитой. Благородство польских рыцарей не знает себе равных во всем мире.

«Он все-таки истинный поляк!» – подумала она о Потоцком, прощая ему гримасу в птичнике.

Вдруг заиграла лютня, запела девушка:

Рыцарь мой, коня не торопи,
Ты себя надеждой укрепи.
Одолеешь путь, теряя силы,
Чтоб услышать ласковое «милый».

В беседке из благородной слоновой кости в окружении подруг княжна Роксанда играла на лютне и пела.

– Княгиня Домна Тодора! – Служанка Эмилия вскочила на ноги и замерла в почтительнейшем и нижайшем поклоне.

Княжна Роксанда обернулась, расцвела улыбкой, передала подругам лютню и пошла из беседки навстречу гостям.

– Простите меня, князь! – обратилась она к Вишневецкому. – День выдался жаркий для осени. Мы купались и не успели просушить волосы.

В жемчужном венце с ниспадающим кисейным покрывалом – не скажешь, что простова-лоса, – княжна показывала чудо своих волос: в этой черной поблескивающей пучине и утонуть было немудрено.

«Она знает, как сводить с ума», – подумала о падчерице княгиня Домна Тодора и спохватилась: загляделась на Роксанду.

Знакома княжну с Петром Потоцким, князь Дмитрий обреченно вздохнул и рассмешил Роксанду.

– Князь, вы в каждом моем знакомом видите соперника, но ведь большинство знакомств я завязала не без вашего участия.

– Знакомить вас с моими друзьями для меня казнь, – признался Вишневецкий. – Но я иду на нее, чтобы только еще раз видеть вас, слышать вас, дышать одним воздухом с вами.

Петр Потоцкий покосился на князя Дмитрия, вскинул оценивающие глаза на Роксанду, и она увидела, что он не сомлел от восторга. У княжны от досады покраснела шея.

3

За обедом княгиня Домна Тодора делилась секретами котнарских виноделов:

– Для крепости берут виноград «граса», одну треть, для букета – «фетяска», тоже одну треть, добавляют одну шестую «фрынкуша», он придает приятную кислотность, и от него же прозрачность вина. И для полноты букета добавляется одна шестая часть мускатного сорта «бусуек». На четвертый год выдержки вино под стать огню, а по цвету оно зеленое, как изумруд. Чем старше котнарское, тем зеленее. Рецепт этого вина мне дал наш погарник.

– Это первый виночерпий Молдавии, – пояснил Потоцкому местный старожил князь Дмитрий. – Котнар – резиденция погарника. Под его властью все виноделы господарства.

– Сколько бы ни стоило это замечательное вино, – загорелся Потоцкий, – я прикажу отправить в мои погреба все сорок бочек.

Княжна Роксанда подняла бокал с изумрудным вином и, любуясь игрой огня, рассмеялась:

– Сначала люди уразумели, что не все подвластно мечу, уразумеют они когда-нибудь, что и деньгам не все подвластно.

Потоцкий не понял, о чем это лукаво мудрствует княжна, но рассердился:

– Сколько бы мы ни твердили, что меч и деньги не всевластны, от этого их власть не уменьшается, как бы это ни было горько. Я знаю: когда мое желание станет нестерпимым, я возьму деньги или меч и сломя чью-то волю, силу или даже ненависть ради моей воли, силы, ненависти или любви.

Это было сказано с таким неприличным напором, с такой страстью, что за столом наступила неловкая тишина.

В глазах княжны сверкнула ярость, и князь Дмитрий побледнел: Потоцкий вступил на путь соперничества не без успеха.

– Пан Потоцкий, вам действительно не удастся перевезти не только сорока бочек, но даже одной, – сказала княгиня Домна Тодора. – Дело в том, что котнарское нельзя перевозить. В дороге вино умирает.

– Не правда ли, какая чудесная и странная судьба, – черные глаза Вишневецкого замерли, и горящий в них огонь вдруг умер, – быть славою своей земли, но на родной земле. Вот верность, которая должна быть укором многим.

– Князь! Вы готовы философствовать по каждому незначительному поводу! – воскликнула Роксанда. – Котнарское – прекрасное вино. Так пейте же и радуйтесь!

– Когда себя приходится заставлять радоваться, то и горечь невыносимей.

– Что вас так тревожит, князь? – удивилась княгиня Домна Тодора.

– Меня тревожит мой век.

– Ну, слава Богу! Я думала, мозоль! – Княжна Роксанда неудержимо хохотала. Потоцкий тоже не удержался от смеха, улыбнулась княгиня.

Под общее веселье вошел погарник. Поклонился княгине и обществу:

– Великий господарь просит быть сегодня на вечерне по случаю победы над врагом во славу Господу нашему. На вечерню прибудет победитель врага – сын украинского гетмана Тимош Хмельницкий.

Сказал и посмотрел ясными глазами на поляков.

– А вы еще смеялись! – воскликнул князь Вишневецкий, и слезы задрожали в его голосе.

Глава вторая

1

Когда придворный добивается особой милости, он заказывает для повелителя шкатулку, которая стала бы любимой игрушкой, хранилищем самых изысканных, а еще лучше – милых сердцу сокровищ. Шкатулку эту режут и украшают мастера великих затей, платят им втридорога, чтоб они в ухищрениях превзошли самих себя.

Храм Трех Святителей сотворен гордыней молдавского господаря Василия Лупу. Это плата Господу за темницу души. Цари и в самой душе строят и носят темницы для государственных своих, чернее адской пропасти, грехов.

Лебедем плыл по синему небу веселого зеленого города Яссы храм Трех Святителей.

Снизу доверху опоясан узорами: травами, лозами, орнаментами, а может быть, и тайными письменами. Узоры по камню, но резаны чисто и тонко, как по слоновой кости, как по золоту.

Жители Ясс и через годы не могли привыкнуть к чуду. Сколько раз поглядишь на Трех Святителей, столько и удивишься.

Входящий во храм чувствовал себя так, словно вознесло его в самые недра светоярого солнца. На алом – золото, сказка русских мастеров.

Соболи и куньи меха, крытые парчой шубы, женские и мужские платья в жемчуге, в драгоценных камнях, в золоте. Вот уж воистину – шкатулка земных чрезмерных соблазнов.

Казачья старшина, приодевшаяся для торжества, даже потеряться не могла среди всеобщего великолепия. Как стайка воробьев в клетке павлина, казаки хоть и хорохорились, но всем было видно, что тяжело им здесь, что стыдно им за свои лучшие наряды – словно нищие посреди хором.

– Который сын Хмельницкого, покажите! – Княжна Роксанда как появилась в храме, так сразу и затормошила своих подружек. – Вон тот, чернобровый? Ах, какой казак!

– Это – Федоренко! – объяснила княжне всеведущая Эмилия.

– А где Тимош, спаситель моего батюшки?

– С пушком на губе.

– Этот угрюмый?! Господи, да он же рябой!

На Роксанду стали оборачиваться, и она поспешно затаилась, присмирела, но, постояв, изображая на лице молитвенную сосредоточенность, потянулась глазами к детинушке.

Прямая спина, жупан, как надутый, – столь выпуклы и могучи мышцы, лицо обожжено ветром и солнцем, но молодое, как мордочка теленка. Не усы – дымок. Шестнадцать весен человеку. Шестнадцать весен, а рот на замке, губы напряженно сомкнуты, глазами вперился в Царские врата и ничего больше не видит. Глаза обрушиваются на каждый встречный взгляд, как на вражескую крепость, и не уступают ничему.

«Могла бы я полюбить такого?» – подумала вдруг Роксанда и ужаснулась на самое себя. И поставила рядом с Тимошем пламенного, сгорающего от любви князя Вишневецкого, черноглазого ангела, который все понимает, все знает наперед, страдающего сначала за любимую и уж потом за себя. Потом поставила гордого самолюбца Петра Потоцкого, снисходительно разрешающего себя любить, настоящего чистопородного пана. И ужаснулась – ей хотелось, чтобы ее обнял этот неотесанный, этот безобразный казак.

Вздрыгнула – Тимош смотрел на нее. Ей показалось, что ее грубо толкнули, она попробовала улыбнуться и не сумела. У нее достало силы не опустить глаз, но поглядеть глаза в глаза не посмела. Она боялась перевести дыхание, чтоб не вскрикнуть, но он скоро отвернулся и, уставясь на Царские врата, шептал сухими, покрытыми коричневой коркой губами слова молитвы.

«Лучше в заточение, чем замуж за такого!» – сказала самой себе Роксанда и не поверила ни одному из этих слов.

Словно малый ветер обежал стены храма. Дрогнули язычки свечей, засверкали камни, зашелестел шепоток. То явился в храм сын господаря Стефан со своими ближними людьми. И тотчас за малым ветром колыхнул платья и шубы большой ветер. Возбужденно вспыхнули камни, золото заструилось, огонь заметался, и лица придворных озарила улыбка всеобщего беспрекословного восторга. Через храм на свое господарское место шел Василий Лупу.

Перед ним – постельник с серебряным жезлом, позади меченосец, опоясанный мечом, с господарской короной и булавой.

Сам господарь в нежно-зеленой ферязи, в красной шубе на соболях, подпоясан широким турецким поясом, по груди золотые розетки с большими чистой воды бриллиантами. На голове особая шапка с рубином и перьями.

При появлении господаря на обоих клиросах запели хоры мальчиков: на правом – по-гречески, на левом – по-молдавски.

Лупу занял свое место и всем видом показывал, что углублен в молитву и слушание службы.

Но мысли его были о земных делах.

«Господи! – думал господарь Лупу. – Под сводами Твоего дома собрались сегодня люди, которые Твоим промыслом, но из рук моих получили власть, богатство и даже само имя, ибо многие из них были всего лишь торгаши да ловкачи, а ныне – бояре, цвет государства. Но есть ли среди этих людей хоть один, который не предаст меня тотчас, стоит лишь обломиться одной ножке моего трона, одной из четырех.

Ворвись в храм воинство Матея Бессараба – и встанут за меня казаки, потому что они ждут денег за победу. А боярам-то чего рисковать? Они свое взяли, и не только свое».

С господарского места Василий Лупу видел всех стоящих у корыта власти, у его корыта.

Среди бояр и ближайших людей господаря было только три молдаванина: братья Чагол да Георгий Стефан – логофет. Остальные – греки.

Сам Лупу был родом из Эпира. Говорили, что он албанец, арнаут, серб, но, кем бы он ни был, Эпир – это Греция, и к грекам Василий Лупу имел большую слабость. Он их отличал перед молдаванами и даже перед любезными сердцу поляками.

Господарь Валахии Матей Бессараб играл на больной струне молдавских владетельных особ, призывая их скинуть ярмо чужеземцев-греков. На все эти призывы у Лупу было два довода: во-первых – виселицы и во-вторых – виселицы. А еще он любил говаривать: «Всевышний Бог не создавал на лице земли людей порочнее жителей страны молдавской, где все мужчины воры и убийцы».

Люди воистину государственного ума, Бессараб и Лупу умели под игом турецкого владычества не только нарастить государственную мышцу, но и создать такие духовные ценности, которые оказались более стойкими, чем самые неприступные крепости. Они выдержали осаду самого времени. У любого из этих господарей достало бы изворотливости добиться объединения обоих княжеств, а там и скинуть разом турецкого седока, но беда была в том, что жили они и правили в одни годы, и было им под солнцем тесно.

Когда-то они вынашивали план совместного удара по Османской империи, но в 1639 году Лупу получил у турок фирман на владение Валахией, и бывшие союзники стали врагами. Во время войны с казаками под Азовом Лупу подговаривал Дели Гуссейн-пашу, командующего турецкой армией, позвать Матея Бессараба. Лупу готовил Бессарабу мышеловку, но валахский господарь видел на три аршина под землей и не дал себя обмануть.

Время шло, и Василий Лупу понял, что воды удачи и счастья льются на мельницу Матея Бессараба. Валахский господарь не только строил козни, но уже и меч обнажал против соседа.

«Если бы не казаки, пришлось бы отсиживаться в горах, а то и бежать в Истамбул».

Горькая обида исказила непроницаемый лик господаря.

Ни один правитель из молдаван не сделал столько для Молдавии, сколько он, грек Лупу, а в ответ – ненависть. Двинул Бессараб войска, и ведь к нему потянулись, против своего же князя.

Одобрительно, нарочито долго посмотрел на казаков, чтоб все в храме увидали его одобрение и его долгий взгляд, а сам думал: «Надо их приручить. Воюют, может, и бестолковее немцев, но ценят свои головы вдвое дешевле».

2

После службы казацкая старшина и мурзы из татарского отряда Тугай-бея были приглашены к столу господаря, а для прочих воинов, для татар и казаков, поставили на господарском дворе бочки вина и котлы с бузой, жарили быков, свиней, баранов.

Обещанные деньги были заплачены, каждый участник похода получил сверх платы по серебряному талеру, а старшины по кафтану, потому и праздновалось всем с легким сердцем.

Тимош сидел за столом до того прямой и неподвижный, что в первые же минуты господарского пира у него судорогой свело шею и спину.

Обмакнув хлеб в кушанье, перекрестил его и что-то сказал митрополит Варлаам. Поднялся с места и стоя выпил кубок вина господарь, а казаки радостно зашумели.

На Тимоша словно наваждение нашло, слова не доходили до сознания, люди и предметы расплывались в глазах.

Немного оправившись от первого смятения, он выпросил все и узнал: митрополит благословил трапезу, а господарь пил здоровье гетмана Хмельницкого. Теперь Тимош заворуженно смотрел на стол Василия Лупу.

Великий келарь снимал с тарелей крышки и показывал каждое блюдо одиноко восседавшему господарю. Если господарь поднимал глаза, блюдо убирали, а то, что нравилось, водружали на стол, великий келарь вилкой проходил по всему блюду и кусочек отведывал. Меченосец стоял по правую руку от господаря, держал корону.

Возле деревянной бадьи с холодной водой, в которую были опущены бутылки с разноцветным вином и водкой, хлопотали подручные великого погарника. Он сам наливал вино в хрустальные или в фарфоровые кубки и чаши и, отведав, подносил господарю. Василий Лупу пил вино с удовольствием и после нескольких рюмок освежался чашей пива.

Такие же блюда и вина подавали казакам, и Тимош пил, заедая вино хлебом, потому что не умел приступиться к еде с тем удивительным изяществом, которое творил на глазах у всех господарь. А казаки времени даром не теряли.

– Ешь, чего голодный сидишь! – Федоренко, спохватившись, сунул павшему духом Тимошу фазана в руку.

– Вкусно! Ты гляди, внутрях-то у него перепелка, а в перепелке воробей, должно быть, а в воробье еще какая-то пичуга, а в пичуге ягода с косточкой.

Тимош держал в руках фазана и, не зная, что теперь делать, откусил кусочек. Бог ты мой! Не еда, а дьявольское искушение.

Тимош, успев и захмелеть, и наголодаться за столом, ломившимся от яств, сам не заметил, как уплел все это тонкое сооружение: фазана, перепелку, воробья, малую птаху. И ягоду съел, а косточку, поразмыслив, выплюнул под стол.

Подали на диво вкусной водки. Казаки выпили, и Тимош, расстегнув тугой ворот рубахи, потянулся за вторым фазаном, но передумал и брякнул перед собой блюдо с бобровым хвостом.

– А не спеть ли нам хозяину нашему казацкую песню? – спросил Федоренко.

И казаки, дружно промочив горло, спели про милую вишневую Украину, про ковыли да про Днепро, про казачек, ждущих из-за моря под серебряным месяцем казаков-молодцов.

Тимош пел со всеми, радостный оттого, что обрел руки, ноги, голос. И вдруг почувствовал: на него смотрят. Поискал – кто? И встретился взглядом с Василием Лупу. Господарь улыбнулся, но глаза не отвел, заупрямился и Тимош. Его разобрала неожиданная злость. На себя, на свое давешнее позорное кусание хлебца, на свое неумение сидеть за царскими столами. Но теперь ему было все равно. Экая птица – господарь! Не обошелся вот без казаков.

«Погоди, я еще твоим зятем стану!» – сказал про себя Тимош, ликуя.

Господарь сказал что-то подошедшему к нему логофету и поневоле отвел глаза.

Логофет вернулся с собольей шубой.

– Передайте, казаки, моему брату гетману Хмельницкому с поклоном и благодарностью, – сказал господарь.

«Вот уже отец братом князю стал, – усмехнулся Тимош, – а я, стало быть, князюшке племянник».

Шубу принял Федоренко. Грянула музыка. В залу впорхнули танцовщицы, и словно горящих углей сыпанули под ноги.

Бешеный танец закружил головы, воздух потрескивал от синих дьявольских искр.

Тимоша тронули за плечо. Перед ним стоял логофет Георгий Стефан. Тимош понял, что его куда-то зовут, встал, пошел за логофетом. В тихой, обитой коврами комнате его ожидал господарь.

Стремительно сорвавшись с места, Василий Лупу обнял Тимоша, поцеловал, проследил за ним.

– Передай отцу, что отныне нет у гетмана Украины преданнее слуги, чем несчастный молдавский князь! – Василий Лупу сел по-турецки на ковер и показал Тимошу место напротив себя.

На золотом подносе, в золотой посуде принесли сладости и вино.

– Я как медведь в берлоге, – говорил господарь, отведывая кушанья, – обложили меня предатели со всех сторон. Одни туркам служат, лютым врагам православной нашей веры, другие служат моему врагу Матею Бессарабу, третьи – полякам, нашим ненавистным врагам, четвертые предались московскому царю, пятые – семиградскому, есть лазутчики крымского хана и шведской королевы, много у меня врагов среди самих молдаван, скверных людишек. Как я живу, как держусь на престоле, одному Господу Богу ведомо.

Благородное оливковое лицо господаря выражало бездонную печаль, но холеные, скрученные до тонких жгутиков усы торчали в стороны воинственно, и руки, лежащие на коленях, были спокойны и властны.

– Передай гетману, что я, за помощь его скорую, почитаю себя неоплатным должником и готов тотчас исполнить любую волю моего брата.

«Отдай за меня дочь свою», – сказал про себя Тимош и опустил голову. Вслух такое сказать сил у него не было, скорее бы умер, чем сказал.

– Вот и передай брату моему тайную весть. Надо гетману мириться с поляками. Как можно скорее. От верных людей знаю: крымский хан только прикинулся другом. Он замышляет против отца твоего, а моего брата многие предательства. И к Москве пусть не льнет гетман. Москва обманет. Бояре московские хуже волков расхватают украинские земли и народ украинский вольный посадят на цепь. Вспомнят тогда казаки поляков добрым словом, но поздно будет. А теперь выпьем бокал зеленого, как изумруд, котнарского на вечную дружбу между мною, князем Молдавии, и твоим отцом, князем Украины, между мной и тобою, воспреемником отцовского дела.

«Так Украина не княжество и отец мой не князь», – сказал про себя Тимош, а вслух сказать не посмел. Горько покори́л себя, что не только возразить, но и поддакнуть как следует не умеет.

Хватил Тимош кубок котнарского, а на дне кубка перстень с изумрудом.

– Эко! – вырвалось у казака первое словечко за весь их разговор с господарем.

Засмеялся Василий Лупу:

– Это тебе подарок, на добрую дружбу! А теперь к гостям пошли, как бы они не хватились нас.

Повернул Тимош перстень. Камушек так и горит. Сунул перстень за пазуху, в потайной кармашек.

Погуляв трое суток кряду, татары и казаки ушли из Ясс, добром поминая молдавского господаря.

3

Он увидел синее, играющее на солнце море и белую птицу над морем. Сердце сжалось от страха и тоски. Море и птица были предвестниками самого тягостного сна.

«Проснуться бы», – подумал он, но перед ним уже маячила решетка. Потрогал ее: надежна ли – и обрадовался: надежна. По каменной гладкой стене самой неприступной башни карабкались из пены волн, будто крабы, убиенные по его приказу, по его навету. Первым, как всегда, добрался до решетки удушенный в Константинополе Мирон Берновский. Гудел ветер, срывая легкий костяк со стены, но Мирон, уцепившись за решетку, держался, вперясь пустыми глазами в обитателя башни. Желтый скелет вился, как флаг, трещал костями. Кто бы мог угадать в этом костяке господаря Мирона, но Василий Лупу «своих» знал.

Оттолкнув Берновского, заглянул в решетку, вися вниз головой, бывший вистерник Мои-сей. Этого пришлось отравить, когда сам добивался места вистерника – хозяина казны господаря.

– Пошли вы все! – отмахнулся от гостей Василий Лупу. – Я свои грехи при жизни отмолил. Куда вам против меня! Что вы содеяли для церкви Божьей? Ровня ли вы мне? Кто построил монастырь Галию, церковь Трех Святителей, церковь в Оргееве, в Килии? Кто выкупил у турок мощи святой Параскевы? Молчите? Василий Лупу. Кто заботился, не зная покоя, о могуществе молдавской церкви? Все тот же Лупу. Пока вы у власти были, попы наши кланялись галицким митрополитам, а ныне мы им ровня. Мои митрополиты признают над собою власть одного лишь патриарха. Да какого патриарха! Константинопольского! Кыш! Кыш!

За решеткой пошла толкотня. Мелькали купцы, бояре, всякая сволочь низкородная, костяки изощрались, но Лупу глядел на них без содрогания.

Треск костяков не унимался, и, тяжело вздохнув, господарь сел в кровати и открыл глаза.

– К перемене погоды, – сказал он себе, помня каждую картинку неотвязного сна.

Пошарил рукой в изголовье, поймал шнурок с миниатюрными из черного жемчуга счетами, взгромоздил подушки и, поставив счеты на грудь, занялся печальным вычитанием.

Даже малая война, победоносная, обходится в копеечку.

«Надо приказать дворецкому тратить на ведение дома не более пяти червонцев в день, – решил господарь. – И сегодня же, до холодов перееду в Котнар, на тихое житье».

Одевшись и умывшись с помощью постельничих, пошел в домашнюю церковь. Ставил усердно свечи.

«Это тебе, Мирон, – вел он тайные разговоры без слов. – Успокойся и не завидуй. Одному Богу ведомо, какая у меня участь. Я тебя оклеветал перед султаном – и вечная мне за то казнь. Ты безгрешен, что ли? Быть бы тебе в аду, когда бы не венец мученика. Так что – уймись!

Это тебе, Гаспар! У нас с тобой хорошо получилось. Ты меня не успел удавить, а я тебя – сам ты под Цецорой костями лег. Спи спокойно.

Прими от меня, Мануил...»

У Мануила Василий работал в лавке. Мануил был ювелиром средней руки. Умер он в одиночасье, оставив свой капитал Василию.

«Грешен перед тобою, господарь Илия! – ставил Лупу очередную свечу. – Ты вводил любезные моему сердцу греческие порядки, но против тебя-то я и поднял восстание, ибо любовь к Греции была самым слабым твоим местом. В господари мне хотелось. Ты ведь и при жизни знал: я – достойнее тебя и всех прочих искателей... достойнее.

Моисей, хоть бы ты не являлся в дурном сне моем! Яришься, что наградил меня званием великого дворника, что почитал за ближнего друга и не кого-нибудь – меня отправил к султану хлопотать по своим делам. Грешен, за себя хлопотал. Да мало ли кто за себя хлопочет? Видно, Бог меня хотел на печальном троне Молдавии зреть».

От свеч, зажженных господарем, в крошечной молельне стало светло и душно. Василий Лупу взял последнюю, толстую, в аршин величиной, поставил ее за всех разбойников, принявших смерть по его, государеву, указу. Пятнадцать тысяч казнил, вдоль дорог развесил.

4

Торопясь с отъездом в Котнар, в тот день он принял трех послов: московского, турецкого, крымского – и вел дружескую беседу с польским князем Дмитрием Вишневецким и с сыном коронного гетмана Петром Потоцким.

Московскому послу, монаху Арсению, были переданы письма для царя Алексея Михайловича и на словах было сказано:

– Господарю доподлинно известно, что злоковарный Хмельницкий готовит с ханом набег на Московское царство. Хмельницкий много говорит о любви к московскому царю, но сам готов служить хоть турецкому султану, лишь бы удержать в своих руках власть для себя и для своего потомства.

Турецкому послу Василий Лупу говорил, целуя иконы для крепости слов своих:

– Хоть у Хмельницкого от теперешней славы голова идет кругом, но человек он разумный и хитрый, как змей. Хмельницкий знает: один он против поляков не устоит без помощи его величества падишаха, который велит крымскому хану помогать казакам, но верной службы от него ждать нечего. Как только гетман поляков побьет, его войска следует ждать в Крыму. А помощь он себе найдет в Москве.

Одарив крымского мурзу лисьей шубой, Василий Лупу на сабле клялся в верности Ислам-Гирею и, передав тайные вести из Москвы, Польши и Литвы, напоследок сказал:

– Сколько бы добра мой брат Ислам-Гирей ни сделал для Хмельницкого, в награду он получит черное предательство. Хмельницкого нужно держать в вечном страхе, тогда он будет ласковым, как прикормленная собака.

С поляками, с Потоцким и Вишневецким, господарь обедал.

Это была дружеская трапеза в малой комнате, стены которой не пропускали звуков. Но если Тимоша Хмельницкого Василий Лупу принял по-турецки, то поляков, любителей французской моды, – по-французски. Комнату задрапировали гобеленами, была поставлена причудливая мебель французского двора, в посуде, вывезенной из Франции, поданы лучшие вина Шампани, и всякое блюдо приготовлено было по рецептам повара-француза.

Петр Потоцкий прибыл в Молдавию не ради поправки здоровья на модных котнарских виноградниках. Его отец, великий коронный гетман Речи Посполитой, проиграв Хмельницкому битву при Корсуні, был пленником хана Ислам-Гирея. Господарь Лупу должен был помочь в переговорах с Бахчисараем и, главное, с Истамбулом об отпуске больного Николая Потоцкого. Сын Петр готов был заменить отца в неволе.

Василий Лупу знал, зачем приехал молодой Потоцкий, но пролил обильные слезы и, припав к груди рыцаря, воскликнул:

– Какое благородное у тебя сердце!

«Что ж, – думал он, – отдать Роксанду за Потоцкого – это приобрести польский сенат. Особым умом рыцарь как будто не блещет, но и прежней славы Потоцким хватит на века».

И посмотрел на князя Дмитрия. Красив и трепетен, как серна. Умен, тонок, и дядя его, князь Иеремия, нынче первый герой в Польше.

Тень скользнула по ясному лицу господаря. Свою старшую дочь Елену он мечтал выдать за московского царя Алексея. Не получилось. Москва медлительна в решениях, Алексей был слишком молод и, не в пример отцу Михаилу, невест за морем искать не захотел. Женился на какой-то московской дворяночке.

«У Вишневецких ныне слава, а земли их – у Хмельницкого», – думал господарь, слушая рассказ молодых людей, как Петр Потоцкий покупал виноградник в Котнаре.

– Я сделаю так, что свой плен ты будешь отбывать в Истамбуле, – сказал Василий Лупу. – Крымский хан ныне много своевольничает. Жить у него – значит подвергать себя большой опасности. Я дам письма к нужным и значительным людям. В Истамбуле ты будешь жить не только в роскоши, но и с пользой для всего рода Потоцких и для Речи Посполитой. Дружба великих людей – это талисман мира между народами.

Князь Дмитрий слушал господаря, и глаза его теряли блеск. Он видел: если Василий Лупу будет выбирать между ним и Петром, то выберет Петра.

– Князь Дмитрий, – Василий Лупу дотронулся до руки Вишневецкого, – я прошу тебя бывать у нас в Котнаре. Мною приобретены старые книги французских алхимиков, а я знаю, что ты, князь, большой любитель чудесного.

– Я охотно почитаю ваши книги! – воскликнул князь Дмитрий: он не умел жить, не пламеня.

– У меня еще будет просьба к вам обоим, – сказал Василий Лупу, становясь серьезным. – Мне незачем от вас скрывать своей любви и почтительнейшего уважения к народу Польши, ко всему укладу жизни Речи Посполитой, своего восхищения польским рыцарством. Мой род – одна из ветвей рода Могил, но, будь я царских кровей, все равно почитал бы за честь иметь шляхетское достоинство. Я прошу вас содействовать осуществлению этой моей мечты – и перед королем, и перед сенатом.

Голос господаря выдавал его искреннее волнение.

Не был Василий Лупу родственником Могилам, не было у него дворянства ни молдавского, ни турецкого, ни греческого. Был он безроден. Достигнув умом и коварством княжеского трона, он мечтал стать дворянином по всем правилам закона. Он мог купить любой титул, мог присвоить, мог состряпать подложные грамоты, но ему, не верящему ни одному человеку на земле, нужна была хоть какая-то опора, незыблемая точка. И точку эту он видел в дворянском звании, которое было бы наследственным для всех его многочисленных отпрысков.

Молодой Потоцкий удивился просьбе господаря, а князь Дмитрий хоть сегодня же готов был в путь, в Польшу, хлопотать перед сенатом.

Глава третья

1

– Здравствуй, пан сотник! – Отец поднял большие свои руки, которые при неровном свете факела показались Тимошу крыльями.

Обнял отец ласково, по-матерински. Усадил на лавку, сам сел напротив, придвинувшись к сыну веселыми родными глазами.

– Чуешь? Сотник, говорю! Чигиринский.

Тимош и обрадовался, и застеснялся, голову набычил.

– Серебро, все двадцать бочек, закопал там, где ты указал. Лошадей поставил, каких – в старых конюшнях Конецпольского, каких – по казачьим дворам, покуда новых конюшен не построим. Спросить тебя не мог по дальности твоей. Конюшни я велел строить большие и добрые, как у самого Потоцкого. Кони турецкие, цена им дорогая.

– Молодец! – Отец улыбнулся, а Тимош просиял.

– Сундуки с платьем частью в доме оставил, частью закопал под навесом. Двенадцать оставил, двенадцать закопал.

– Как с Тугай-беем ладил, с Федоренко, с казаками?

– Не знаю, чего они скажут, а я скажу – все у нас ладно вышло. С командирством своим я не лез. Правда, когда к Яссам двигались, торопил, наказ твой исполнял, а на войне и казаки, и татары знают, что делать. Врага было немного, наш приход его напугал. Сначала мы разогнали передовой отряд, а потом схитрили. У валашского князя наемники были и сборное войско, из своих валахов и из тех, кто перебежал к нему от господаря Лупу. Чтоб людей не терять, ударили мы по ополчению. Оно не столько от потерь, сколько от страха перед конницей Тугай-бея рассеялось, поломало строй наемникам, и те ушли. Вот и вся война.

– Татары грабили?

– Грабили.

– А наши, казачки?

– Казаков от грабежа Федоренко удержал.

– Один Федоренко?

– Так и я тоже.

– Хорошо, – сказал отец и вдруг нахмурился, полез за пазуху и – бац по столу!

Перед Тимошем лежал изумрудный перстень господаря Лупу.

– Это как же? – изумился Тимош.

– Рассказывай.

Тимош дернул плечами.

– Господарь мне его дал. Позвал меня с пира и говорит: «Передай твоему отцу, что он брат мне, что за скорую помощь почитаю себя в неоплатном долгу, а потому готов исполнить любую волю брата моего». Это он при всех говорил, а когда были с глазу на глаз, велел тебе передать, чтоб хану ты не верил, что он замышляет против тебя многие предательства, и московским боярам чтоб тоже не верил. Они украинский вольный народ хуже поляков на цепь посадят. Когда бокал за вечную дружбу пили, он тебя назвал князем Украины.

– Нет князей на Украине! Я – гетман! – сверкнул глазами отец.

– Не решился я против слова сказать.

– Ну, а про перстень-то что?

– Выпил я кубок, а на дне – вот оный. Господарь Лупу говорит: «Это тебе на дружбу!» Я взял. Да ведь не при всех даден, а как бы украдкой. Когда шли мы обратной дорогой, в дождь попали, а тут большой постоялый двор. Я и кинул перстень корчмарю, чтоб всех напоил.

– Так, – сказал Богдан, поглаживая усы. – За добрые твои дела ты уже награжден. Тебе семнадцати нет, а уже – сотник. За то, что умеешь ладить с людьми, не выпячиваешься где зря, за это тебе тоже будет награда. Но и за дурость получи.

– За какую дурость-то? – спросил Тимош, зыря на отца исподлобья.

– Знай, что не всегда молчание – золото. Свой кремь не только в себе нужно хранить, но иной раз и треснуть им не грех, чтобы искры сыпались. Нет князей на Украине, были, да выставили мы их, того же Вишневецкого! Это одна дурь. А другая – перстень, царский подарок, ни во что поставил при всех.

– А как же он у тебя-то очутился? – спросил Тимош.

– Будешь на моем месте, научишься чудеса творить... А теперь выбирай: кулаком тебя треснуть, палкой или плеткой?

– По сколько раз? – спросил Тимош.

– Три раза для памяти положено.

– Тогда давай и кулаком, и палкой, и кнутом, мало меня, видно, пан Комаровский потчевал.

Пропастями стали глаза Богдана.

Потупил голову.

– Верно, сын! Без битья обойдемся. Возьми на лавке кунтуш, а вот тебе сабля.

Камнями и золотом заблистало великолепное оружие. Тимош принял саблю, поцеловал отца в плечо.

– Спасибо!

– Завтра королевского посла будем принимать, оденься в дорогое. Жить будешь в моей ставке. Ганжа укажет тебе комнату. Ступай, сынок. К завтрашним делам мне нужно приготовиться. Воевать, оказывается, и не полдела даже.

– А что же дело?

– Дело – жизнь людям устроить. Мир устроить. Вечный. Да чтоб хоть на полногтя справедливости в нем было.

Тимош дослушал отца, пошел к двери, но в дверях резко повернулся. Богдан даже вздрогнул. По вискам хлопца, сбегая на щеки, ползли струйки пота.

– Отец, жени меня, Бога ради!

Хмельницкий медленно поднялся из-за стола, взялся рукой за оселедец.

– Кто же это тебя так поддел? Дочка корчмаря?

– На Роксанде жени.

– На Роксанде? Что за птица?

– Дочь господаря Лупу.

Богдан подбоченился, поднял бровь, поглядел на сына с прищуром.

– А я-то бить тебя собирался. Палку приготовил.

Быстрым, широким движением раскатал на столе сверток карты.

– Иди сюда, Тимош. Поглядим. Вот наша мати Украина, а вот Молдавская земля. Не велика, но ведь – княжество. А здесь Валахия. – Повел ладонями по карте. – Здесь – я, в Молдавии – ты, а Лупу пусть Валахию возьмет. И крутой разговор с поляками будет закончен раз и навсегда. – Обнял Тимоша. – Ничего, что молчишь. Зато глаза у тебя – орлиные. Будет по-нашему: женю тебя на княжне.

Тимош поклонился отцу, пошел к двери, в дверях обернулся.

– Поляки там толкутся, Вишневецкий да Потоцкий.

– Ступай, отсыпайся с дороги. Ко мне сейчас Выговский придет, скажу ему, чтоб тотчас сочинил грамоту, а поутру гонец уже будет в пути.

2

Юная герцогиня де Круа ввела пани Ирену Деревинскую в библиотеку. Королева сидела в высоком, обтянутом тисненой кожей кресле с изящным томиком в руках.

Пани Ирена Деревинская сделала глубокий поклон.

– Я слушаю вас, – сказала королева спокойным голосом, разглядывая посетительницу бесцеремонно и холодно.

– Ваше величество, я пришла к вам с лучшими побуждениями и с чистым сердцем! – воскликнула пани Ирена.

– Но разве это возможно – явиться к своей королеве с худыми побуждениями и с черным сердцем? – спросила королева.

«Она все знает!» – ужаснулась про себя пани Деревинская, но прекратить игру, затеянную в доме Фирлеев, она не могла.

– Ваше величество, я бедная дворянка. Все мое состояние захвачено ныне врагом отечества, этим ужасным Хмельницким. Но когда речь идет о счастье моей королевы, разве можно думать о себе? Когда до меня дошел слух о затруднении, которое испытывает ваше величество, я спросила себя: в чем же проявляется твоя любовь, если ты смотришь на это со стороны? Участливые вздохи делу не помогут. И вот я у ваших ног. Примите самое дорогое, что есть у меня.

И пани Деревинская поднесла королеве маленькую шкатулку с бриллиантовым перстнем.

Королева улыбнулась, но глаза у нее остались холодными.

– Вы напрасно доверяетесь слухам, пани Деревинская. У вашей королевы нет затруднений. Именно поэтому принять дорогую вещь у человека, который потерял все свое состояние, было бы с моей стороны недальновидно. Вашей королеве нужно богатое и сильное дворянство. Благодарю вас и более не задерживаю.

Это был провал. Полный и бесповоротный. Двери королевского дворца, если в этом дворце останется Мария де Гонзаг, для Деревинской закрылись навсегда.

Отвесив низкий и глубокий поклон, пани Ирена удалилась.

Впрочем, еще не все потеряно. И кое-что пани все-таки узнала. Во-первых, в стане Фирлеев, а стало быть, у карлистов, действует шпион Яна Казимира.

3

Пани Деревинскую ждал в кабинете Фирлеев сам бискуп Карл Фердинанд, претендент на корону. Он хотел знать все слова, сказанные королевой, и не только слова, но сам тон их. Бискуп остался доволен памятью и точностью глаза пани Деревинской, отпустил ее к пани Фирлей и пригласил их милости Фирлея и Вишневецкого, чтобы обсудить план дальнейших действий.

Назавтра назначено очередное заседание сейма, на котором может решиться участь претендентов на корону.

У пани Фирлей в гостях была княгиня Гризельда Вишневецкая.

– Вы знаете, какой выкуп взял этот библейский зверь с города Львова? – Княгиня обошла взглядом пани Деревинскую и разговаривала только с хозяйкой дома. Руки княгини были беспокойны. Она, то и дело дотрагиваясь до хрустальной вазы на столике, слегка поворачивала

ее, дотошно, словно искала в ней какой-то изъян. – Семьсот тысяч злотых! У князя Иеремии вчера был человек из Львова.

– У моего мужа тоже кто-то был, – сказала пани Фирлей, чуть сжимая углы рта.

Пани Ирена знала: это признак подавляемого раздражения.

– Вы хотите сказать, что мои сведения неточны? – спросила княгиня Гризельда, не оставляя вазы в покое.

– Ни в коем случае, княгиня. Сначала Львов обобрали войска, бежавшие из-под Пилявы, а потом уже Хмель. Семьсот тысяч этот библейский зверь, как вы замечательно выразились, взял товарами. Город едва наскреб шестнадцать тысяч монет.

Княгиня Гризельда оставила наконец вазу и принялась терзать свой жемчугами шитый носовой платок.

– Мой муж не принял командования над гарнизоном Львова только потому, что боялся поставить город в худшее положение. Хмель и этот его Кривонос почитают князя за своего личного врага. Если бы князь остался в городе, они не отступились бы от его стен.

– Насколько я знаю, полковник Кривонос овладел Высоким замком, – вставила словечко пани Ирена.

– Бог покарал это кровавое чудовище. – Княгиня Гризельда упрямо беседовала только с равной себе пани Фирлей. – Он получил ранение.

– Господи! Все ужасно! – воскликнула пани Фирлей. – Каждый новый день приносит новые страхи. И это нелепое решение сейма!

– Вы имеете в виду запрет на выезд в Гданьск? – спросила княгиня.

– Ну конечно! Ведь запрещен не только выезд, но имущество тоже возбраняется вывозить. Собираются сделать еще один подарок Хмелю и татарам.

– Решение сейма – мера вынужденная, – сказала княгиня. – Если поедет в Гданьск хотя бы один из нас, тотчас побегут все. Мы без Хмеля передущим друг друга. Мой муж требует от сейма нового посполитого рушения. Нужно без промедления собрать новые войска. Нужно идти навстречу врагу.

Пани Ирена вдруг засмеялась.

– Нынче все чего-нибудь да требуют. Одни, как ваш муж, собираются идти навстречу гетману Хмельницкому, другие хотят оборонять переправы у Вислы, третьи – сесть в Варшаве. Но все говоруны только и знают, что укладывают сундуки да отправляют их на возах в укромные места, где наготове шхуны и дубасы. Это не мои слова, так говорят на улицах Варшавы.

– Ужасные времена! – Пани Фирлей прижала пальцы к вискам. – Около Люблина казаками заняты Ленчна, Ухане. Непокойно в Мазовии. Под самой Варшавой бродят тысячи разбойников из мужиков.

– У всех теперь на устах слова Радзивилла, – сказала пани Ирена. – Он якобы где-то обмолвился, что, покажись ныне под Варшавой полк казаков, все бы бежали, как крысы.

– Это не стиль Радзивилла! – презрительно сощурила глаза княгиня Гризельда: ей не нравилась Деревинская. – В ваших словах много яда. Но что вы посоветовали бы делать?

Пани Ирена понимала: это слишком много – нажать за день двух таких врагов, королеву и княгиню, но сдерживаться она больше не могла.

– Вам я посоветовала бы бежать, – сказала она, улыбаясь. – Князь Иеремия бегал по всей Украине и уцелел.

– Пани Деревинская потеряла все свое состояние! – поспешила на выручку своему другу сердца пани Фирлей.

– Сколько вы потеряли? – спросила княгиня Гризельда. – Мы потеряли десятки городов, и, однако, князь Иеремия не пал духом. Он готовится к новым сражениям. Польское войско не привыкло отступать, потому поражения столь удручающи. Да ведь моему мужу и не дали

власти над войсками. Он воевал своими силами, на свой страх и риск. Зачастую один защищая всю Речь Посполитую от многих орд, казачьих и татарских.

– Простите меня! – поклонилась пани Ирена. – От этих ужасов многие из нас совершенно теряют головы. Ради Бога простите! Я знаю – князь Иеремия святой человек!

Это было сказано так искренне, такой аскетизм запечатлелся вдруг на лице пани Ирены, что княгиня простила ей разом все дерзости.

– Давайте помолимся! – Пани Ирена опустилась перед распятием на колени и услышала, как у нее за спиной встают на колени княгиня Гризельда и пани Фирлей.

4

На очередном заседании сената с пламенной речью выступил брацлавский воевода Адам Кисель.

– Необходимость заставляет снова вступить в переговоры с казаками, но переговоры невозможно вести от имени речи Посполитой, – сказал он. – Надо прежде избрать короля. Не говорю, того или другого, а кого Бог на душу положит. Хмельницкого в наших документах титулуют «старшим войска Речи Посполитой», а сам он свои бумаги подписывает: «старший войска короля его милости». Соболаговолите же увидеть наконец, что у этих хлопов республика ничего не стоит. «А що то есть Ржечь Посполита? – говорят они. – И мы также Ржечь Посполита. Але король, то у нас пан!» Король для них нечто божественное. И только воли короля они послушают!.. Вы боитесь злоупотреблений королевской власти, хлопчете о гарантиях. Есть немало средств добиться подобных гарантий. Но если вместо скорейшего избрания короля станем заниматься рассмотрением возможных злоупотреблений, то все права наши пойдут к дьяволу, вольности – к двум чертям, а наши шеи – под острую саблю пана Богдана.

Снова начались речи, в которых предлагались разные варианты все тех же мер: «Идти под осажденное казаками Замостье, укреплять переправы на Висле, купить наемников для удержания Варшавы...»

Канцлер Оссолинский, чтоб сдвинуть сейм с мертвой точки, предоставил слово очевидцу из Покутья, шляхтичу Корчинскому. Этого шляхтича захватили восставшие мужики, повели на суд к своему предводителю Семену Высочану, но ему удалось бежать.

– Хлопский магнат Высочан, – сказал пан Корчинский, – взял Пнивский замок, перебил шляхту. В загоне Высочана крестьяне Пнивя, Пасечной, Горохолины, Ляховец, Жураков. Загон хорошо организован и вооружен, численность его превышает пятнадцать тысяч. И таких загонов ныне много. Есть загон Яремии Поповича, есть полк попа Василия, есть полки Максима Чеваги и попа Корытко. Эти полки и загоны взяли замки в Отынии, Палагичах, Обертине, Заболотове. В Печенижине бунтовщики разгромили замок его милости Станислава Потоцкого...

Пана Корчинского прервал вбежавший гонец.

– Казаки подошли к Бресту и Кобрину!

Тотчас было предложено начать сборы войска. Сразу же велась запись. И опять было чему удивляться! Богатейшие из богатейших, владельцы тысяч и десятков тысяч душ давали самое большее по сто, сто пятьдесят человек. Один из Радзивиллов расщедрился на две сотни, и только канцлер Оссолинский, беднейший из магнатов, дал все, что мог, – шестьсот человек.

Канцлер сказал сейму не без укора:

– Когда нам плохо, мы тотчас даем деньги и бьем тревогу. А как выйдем из шатра, то все забываем за стаканом вина. Отчего же это? У меня есть ответ на вопрос. От продолжительного мира, во время которого мы научились хозяйничать по-немецки, болтать по-итальянски и душить по-французски.

Посчитав эти слова оскорбительными, сейм покинули карлисты во главе с подканцлером Станиславом Лещинским.

Выборы короля были в который раз отложены. Правда, всего на два дня. Когда же этот день наступил, подсудок краковский пан Хршонстовский, человек Вишневецкого, потребовал, чтобы Доменик Заславский оправдался перед сенатом за пилявецкий разгром.

Выборы были сорваны, и минуло еще тринадцать безрадостных дней.

Карл Фердинанд сорил деньгами в Яблонне, скупая голоса шляхты. Карлисты в коронные гетманы прочили князя Вишневецкого, в польные – Фирлея.

Ян Казимир тратил деньги королевы в Непоренте. На его стороне были Заславский, Конецпольский, Адам Кисель, а возглавлял партию канцлер Оссолинский, доказывая сенату необходимость выбора Яна Казимира, упирал на то, что казаки и Хмельницкий стоят именно за этого кандидата.

Только 11 ноября Карл Фердинанд отрекся наконец от польского престола. Ян Казимир уступил ему Опольское и Рациборское княжества и выплатил деньги, истраченные Карлом на выборах.

17 ноября Ян Казимир единогласно был избран в короли, подписав кроме обычных ограничительных статей еще и дополнительные. Король не имел права составить свою королевскую гвардию из иностранцев, гвардия присягала отныне не королю, но Речи Посполитой.

Вступление на престол было обставлено множеством формальностей, а положение страны было отчаянное. До сейма доходили слухи о сборе русского войска, которое якобы намеревается идти под Смоленск. Восстания охватывали собственно польские воеводства. Комендант осажденного Замостья Вейер требовал немедленной помощи.

Выступая в сенате, князь Иеремия Вишневецкий заявил:

– У нас имеется для обороны тринадцать тысяч войска, у неприятеля – двести тысяч. Не знаю, какая это будет оборона...

За два дня до коронования Ян Казимир отправил к Хмельницкому свое первое посольство: Якова Смяровского, Станислава Олдаковского и сотню всадников почетной охраны во главе с Самуилом Корецким.

5

Максим Кривонос лежал на татарской кошме, бледный, волосы оселедца слиплись от пота. Казачий лекарь собирал в сумку свои снадобья. Рваная рана на правом боку загноилась, и лекарю приходилось срывать повязки, сдавливать гной, очищать кровоточащую рану.

– Ты бы хоть кричал помаленьку, – посоветовал лекарь Кривоносу. – Вишь, как намучился. Невыкриканная боль на сердце садится. А сердце заболит, ничем его не выходишь.

– Один раз дашь себе поблажку, так все твои крепости и пропали. Одну за другой сдашь. – Кривонос улыбнулся, но улыбки не получилось.

Тогда он закрыл глаза.

– Выпей, – сказал лекарь.

Кривонос, не открывая глаз, выпил какого-то отвара, опустил голову на седло, которое заменяло ему подушку.

– Скажи там, через час полковник выйдет.

– Полежать бы тебе.

– Вот возьмем Варшаву, тогда и на покой.

Заснул.

Но полковнику и полчаса на отдых не дали. В палатку, виновато опустив голову, зашел Кривоносенок.

– Что? – спросил Максим, открывая глаза.

– Змея огненного пускают.

Максим не стал спрашивать, кто пускает, где пускает. Отер лицо ладонью левой руки, обманывая боль, короткими глотками перевел дыхание.

– Помоги подняться.

Кривоносенок опустился на пол, хотел взять отца на руки. Максим улыбнулся.

– Вот и твой черед нянчиться со стариком пришел. Ты меня, как бревно, на попа ставь...

Стоял, пробуя ногой твердь.

– Ничего. Ноги держат. Воды принеси.

Умылся, вышел из палатки.

По небу плыл огромный горящий змей. Его явно запустили из казачьего стана. Запустили на город, на Замостье, но ветер сносил его в сторону татарского лагеря.

Кривонос положил руку на плечо сына.

– Съезди за Гирей и за Филоном Джалалией. И сам тоже будь.

– А змей?

Змей, распуская черный дымный хвост, падал на землю.

– Не видишь, что ли, с какой стороны пущен? У Богдана теперь главные советчики – его ворожеи.

Полковники приехали с вестями.

– Маруша на огненном змее Хмельницкому гадала, – сообщил Джалалия.

– Хочешь, скажу, чего она вещает? – усмехнулся Кривонос. – Уходить от Замостья.

– Ты, часом, не чародей? – удивился Гиря.

– Я не чародей, но вижу: гетман не чаёт, как бы остановить вареву. Каша через края лезет.

– Полковник Головацкий от Жолквы отступился, – сказал Джалалия. – Взял окуп. Для войска двадцать тысяч и для себя две тысячи.

– Скоро мы не хуже жидов денежки научимся считать. – Кривонос строго поглядел на полковников и стукнул саблей о железный шишак.

Джура принес серебряный поднос. На подносе хлеб, водка, запеченное мясо, несколько головок лука и чеснока.

– Твои хлопцы, Джалалия, слышал я, ограбили Почаевский православный монастырь.

Джалалия сокрушенно покрутил головой.

– Ограбили, стервецы!

– А ты не кручинься! – Кривонос подмигнул полковнику. – Правильно сделали, что ограбили. Такие же дармоеды, как и католики. На шее крестьян едут.

И нахмурился.

– Я позвал вас вот для чего. Зима скоро. Войску на квартиры пора. Но не это меня тревожит. Слышал я, мор начался. С запада его несет. Для войска страшнее мора ничего нет. Но и это меня тревожит не так сильно. А тревожит меня наш гетман.

Полковники притихли.

– О своей тревоге я сам ему скажу.

Кривонос поднял чару, но пить не стал.

– Давайте-ка за мое здоровье.

Полковники и Кривоносенок выпили. Закусили луком, хлебом.

– На серебре вон едим, – усмехнулся Максим. – Слава Богу, что хлебу и соли не изменили. Сказать я вам вот что хочу: берегите Хмеля. Ни при одном гетмане такой силы казаки не имели, как при Богдане. Но беречь его надо от Выговского, от полковников, которые о себе, о своих табунах только и думают, и от него самого. Богдан хитер. Да как бы эта хитрость его и не перехитрила... Поляки все сделают, чтобы поссорить казаков с мужиками. Ополовинят нашу силу, а потом нашими же казачьими саблями вернут себе города и села. Богдан хочет всем угодить: и казакам, и простому народу, и магнатам. А всем не угодишь.

– Ты словно бы последнюю волю нам вещаешь! – сказал простодушно Гирия.

– Мы на войне, полковники. Всякое может быть на войне и во всякий час... Я бы речи не заводил, если бы мы на Варшаву шли, но мы под Замостьем стоим. И чует мое сердце, стоим для того, чтобы не вперед, а назад идти. В Варшаве любое наше слово было бы указом, а в Киеве нам указывать станут. Попомните меня, старика.

– Не бойся, Максим. Не дадим ни полякам, ни своим умникам оплести Хмеля! Вот на то тебе моя рука! – Джалалия протянул Кривоносу руку.

– И моя! – сказал Гирия.

– Не стесняйся молодости! Давай и ты свою длань, сын! – Кривонос пожал казакам руки. – Скоро будет много тревог. Опять какие-то послы едут.

– Не больно велики, знать, послы, – сказал Гирия. – Богдан встречать их Остапа Черноту отправил, обозного.

– С шестью тысячами казаков! – сказал Кривонос.

6

Богдан Хмельницкий, блюдя королевское достоинство и показывая, сколь ценит он регалии гетмана Войска Запорожского, встречать посла вышел из дому и, пройдя ровно до половины двора, остановился.

Посол Смяровский хитрил, двигался медленно, словно бы утомленный дорогой, но Богдан дальше не шел и ждал на месте.

«Уступок от такого не добьешься», – подумал Смяровский, но от своего плана, продуманного и всячески взвешенного за четыре дня пути, решил не отступать.

Пока посольство размещалось, ловкие люди пана посла встретились с Павлом Тетерей. Тетеря передал просьбу Смяровского генеральному писарю, и поздно вечером того же дня гетман тайно принял посла. Встретились в доме местного ксендза.

Яков Смяровский дал Хмельницкому прочитать письмо короля. Ян Казимир писал:

«Как ранее письмом нашим, посланным перед счастливым выбором нашим, мы выразили свое расположение к Войску Запорожскому и к вождю того войска за то, что они, помня благоденствия все милостивых королей, отца и брата наших, просили Господа Бога и желали, чтобы не кто иной, а только мы были избраны на трон, как теперь, сделавшись уже королем и государем Вашим, к вящему удовольствию Вашему, мы объявляем Вам об этом устройении Промысла Господня и выражаем нашу королевскую милость вождю и всему Войску Запорожскому».

Принимая письмо короля, Хмельницкий встал и поклонился, а прочитав, опять поклонился и поцеловал письмо.

– Благодарю короля за его милость и все исполню по его государевой воле.

– Король требует, чтобы Войско вернулось в пределы Украины.

– Я послал к его величеству Гунцеля Мокрского говорить о том, что мы уйдем по первому слову короля, и просить у его милости прощения для всех казаков, взявшихся за оружие по лютой неволе, ибо нам грозили уничтожением. Мы нижайше просим короля подтвердить старинные казацкие вольности и надеемся, что король возьмет Войско Запорожское под свою руку. Казаки хотят подчиниться выборному гетману и его королевской милости. Все казаки, весь народ Украины ожидает от его величества уничтожения унии.

– Король не обойдет милостями тех, кто служит ему, – сказал Яков Смяровский. – У меня к вашей милости, пан гетман, есть личная просьба. Один из ваших людей, а именно Кривонос, является моим личным врагом. В местечке Полонное он взял и ограбил замок, принадлежащий мне. Ущерб в сорок тысяч злотых велик, но поправим. Кривонос, однако, совершил злодеяние непоправимое. Он вырезал мою семью, а восьмилетнего сына продал в Орду. Я не смогу вести

переговоры, если Кривонос будет присутствовать не только на этих переговорах, но и на самой раде.

Хмельницкий почернел лицом.

– Казаки совершили много злодеяний, – сказал он глухо. – Они люди темные и жестокие, но это всего лишь ответ на злодеяния просвещенных людей, за которых себя почитают князь Вишневецкий и многие из шляхты. Мы не варили детей в котлах, не набивали детьми и женщинами колодцы! – Черные жилы вздулись на лбу гетмана, но только на миг. – Посол, ваша просьба будет удовлетворена.

– Благодарю, пан гетман. – Яков Смяровский поклонился. – Я, однако, обязан сказать о Кривоносе нечто большее. Верные люди ставят нас в известность о том, что Максим Кривонос собирается поднять чернь и забрать у вас, пан Хмельницкий, булаву гетмана. Он говорит: «Богдан умел поднять Украину, потому что обещал свободу всему народу. Теперь же, когда судьба вознесла его, он окружил себя теми же шляхтичами, только украинскими, и они захотят удержать то, что приобрели: власть, богатства, земли. Богдан уже целые города себе цапнул. Теперь он и его подбрехи будут искать возможности договориться с поляками, и они договорятся: шляхтич шляхтича поймет. Простые же люди как пришли на эту войну ни с чем, так и уйдут ни с чем».

Богдан выслушал, спокойно поглядел на Смяровского. И ничего не сказал.

7

Торжественный прием посла был устроен в лучшей зале Лубунекского замка.

Гетман, в пурпурном жупане с серебряными петлями, в фиалкового цвета ферязи на соболях, стоя ждал появления королевского посла. Едва посол переступил порог, гетман взял булаву со стола и кинул ее на пол.

– Я прибыл к Войску Запорожскому от новоизбранного короля Польши его величества Яна Казимира, – сказал посол Смяровский.

При имени короля Хмельницкий, все его полковники и старшины поклонились, Кривоноса в зале не было.

Посол взял из рук Олдаковского письмо короля, зачитал его и передал Хмельницкому. Хмельницкий поцеловал письмо и передал Выговскому. Выговский проверил печать.

– Яков Казимир, король Швеции. Печать правильная.

– Как же это правильная?! – изумился вдруг Данила Нечай. – Тут написано – король Швеции, а не король Польши.

– Новую печать не успели вырезать. До избрания на престол Польши его величество Ян Казимир носил титул шведского короля, – объяснил пан Смяровский.

– Он был кардиналом, как и брат его Карл Фердинанд! – возразил Богдан.

– Измена! – закричал Данила Нечай.

– Мои полномочия может подтвердить архиепископ Гнезенский! – топнул ногой посол.

– Целуй крест у своего попа! – потребовали полковники.

Пришлось послу целовать крест.

– Недоверие не есть лучший способ переговоров, – сказал с обидой пан Смяровский и поглядел на Хмельницкого, ища опоры, но тот подлил масла в огонь.

– Даже самые искренние речи не заставят меня прекратить войны, покуда Конецпольский и князь Иеремия Вишневецкий не дадут мне и всему народу украинскому удовлетворения.

– Во как! – хлопнул ладонью о ладонь, заулыбался во все лицо доверчивый, верный гетману Данила Нечай.

У посла были крепкие нервы.

– Видимо, переговоры, чтобы они имели успех, надо вести по пунктам. Не начать ли нам с вопроса о всеобщей амнистии для казаков, мещан и прочего народа Украины?..

8

Всего один день понадобился на разговоры за столом. Наутро собралась рада.

Близкие к Хмельницкому казаки кричали с высокого помоста угодное старшине, а Данила Нечай так сказал:

– По мне – недоброе дело мы делаем. Простояли подо Львовом, простояли под Замостьем, только время упустили. Чтоб Украина свободу получила навечно, нужно было идти на Варшаву. Сполна отплатить панам за все их зло! И теперь еще не поздно. Посол нынешний пришел с изменой, печать на его грамоте фальшивая.

Часть казаков зашумела, поддерживая Нечая, но последним говорил гетман Богдан Хмельницкий. Речь его была короткой:

– Как предки мои самоотверженно и с пролитием крови служили королям польским, так и я, не изменяя им, с подчиненным мне, – глаза сверкнули бешено, – мне! – и еще раз обвел орлиным взором поле, поросшее казачьими головами, не поленился в третий раз повторить: – С подчиненным мне рыцарством хочу верно служить его величеству королю, моему милостивому государю и Речи Посполитой и по приказу его королевского величества сейчас же отступлю с войском на Украину!

– Пусть печати покажут! Пусть покажут письмо! – закричали люди Кривоноса, но голоса их заглушил рев всеобщего одобрения и залпы пушечного салюта.

Посла повели на торжественный обед.

В светлых залах второго этажа на белоснежных скатертях сверкала фарфоровая и серебряная посуда.

Богдан Хмельницкий первый кубок осушил за здоровье короля, и тотчас снова грянули пушки.

Под залпы гетман взял пана Смяровского под локоть и подвел к окну.

Как борода роящихся пчел, густо и словно бы привольно, но подчиненная своим особым силам, текла за горизонт орда.

Не отпуская локтя посла, Хмельницкий провел его на противоположную сторону залы. Дал знак отодвинуть шторы: окруженная кавалерийскими заслонами, скрипя огромными колесами, медленно-медленно уходила из-под Замостья казачья артиллерия.

– Браво! – воскликнул пан Смяровский и, состязаясь с гетманом в благородстве, прямо из-за стола отправил к королю архиепископа Гнезенского с доброй вестью о мире.

9

Правый сапог сошел с ноги легко, а левый не снимался.

– Крепкий, дьявол! – покрутил Богдан тяжелой головой, думая о пане Смяровском.

Потянулся рукой к непослушному сапогу, не достал и жалобно крикнул:

– Ганжа!

В спальню вошел огромный темнолицый казак.

– Помоги, Бога ради!

Ганжа дернул сапог и чуть не стащил Богдана на пол.

– Сила твоя битюжья! Дай упереться.

Ганжа подождал, пока гетман заползет обратно в постель, взялся за каблук, но тащить не торопился.

– Чего застыл? Мочи нет! Уложил меня проклятый поляк! Думал, я его, а вышло, что он меня. Тащи, чего глядишь?

– Да впору не снимать сапоги, а надевать, – сказал Ганжа.

– Теперь отсыпаться надо! Замирились...

– Богдан! – крикнул Ганжа на задремавшего гетмана. – Архиепископа Гнезенского убили. Очнулся.

– Не верю! Я сам ему проезжую вручил, с моей личной подписью.

– Убили, – повторил Ганжа.

– Кто посмел? – Богдан спрыгнул с кровати. – Кто посмел перечить моей воле?

Оттолкнув Ганжу, схватил саблю.

– Кто посмел, спрашиваю?

– Казаки посмели.

Гетман метнул взгляд на дверь. Сжав в кулаке бархатную портьеру, в дверях стоял Максим Кривонос.

Зеленый свет лампы вызеленил тяжелые драпировки массивной, под балдахином, кровати, и лица людей были зелены, как плесень.

– А постеля-то! Боже ты мой! Воистину княжеская милость!

Кривонос прошел через спальню, сел на перину, попрыгал.

– На такой постеле нежиться – не то что пупок, мозги заплывут жиром.

Богдан сунул саблю в ножны, ногой придвинул к постели барабан, сел.

– Пришел правду в глаза говорить? Говори!

Кривонос потрогал пальцами шрам, рассекавший его лицо наискось. Глаза на этом лице стояли и далеко друг от друга, и один выше другого, и, если Кривонос глядел в упор, казалось, что на тебя смотрят два человека через одну пару глаз.

– Ты, Богдан, предал Украину, – сказал Кривонос тихо.

– Я дал ей жизнь, Максим. И славу! Об Украине ныне знает и говорит всякий язык на земле.

– Сначала ты не пожелал взять Львов, потом мы торчали под Замостьем, теряя драгоценное время. Теперь и вовсе уходим! Ты позволяешь врагу собрать силы, а свои уже раструсил. Вернемся мы на Украину и останемся ни с чем.

– Ганжа! Принеси Максиму выпить.

– Мне, Богдан, недосуг пить сладкие вина. От твоих кубков разит панским смердящим духом.

– Ты стараешься меня обидеть? Тогда запомни: что бы ты ни сказал и что бы о тебе ни говорили, я почитаю тебя за самого верного друга.

Богдан был совершенно трезв.

– Это я приказал схватить архиепископа и зарезать! – внятно и очень спокойно сообщил Кривонос. – Еще можно все поправить. Орда ушла, но у нас достаточно сил, чтоб ударить на Польшу. Тугай-бей с нами. Часть орды можно вернуть.

– Скоро зима, Максим!

– Но ты сам тянул время! Или для того и тянул, чтобы можно было сослаться на зиму? Чего ты ждешь от поляков? Они тебе все что угодно пообещают. Забыл участь Павлюка? Сам король изволил простить все его вины. Да только паны на короля чихать хотели.

Ганжа принес вино.

– Выпей! – сказал Богдан.

Кривонос отмахнулся. Богдан взял кубок и отпил несколько глотков.

– Как видишь, не отравлено.

Кривонос вскочил, вырвал у гетмана кубок, швырнул в угол.

– До питья ли?!

– Кривонос! – Гетман опустил лицо в ладони. – Ты славный и мудрый воин. Без тебя я не выиграл бы Корсунскую битву. Без тебя не одолел бы Вишневецкого. И под Пилявой ты был главной силой моей, моей надеждой.

– Да не вилай ты, Богданище! Подумаешь, Кривонос! Не будь меня, Данила Нечай сделал был то же! Не будь Нечая – Богун! Это не я побеждал шляхту, не ты, не Богун, не Данила – это народ наш бился и победил.

– Народ, говоришь? Народ поднимался много раз. И его ухлестывали плетьюми. Нет, Максим, в твоих словах только половина правды. Народ народом, но у народа должен быть Богун, Нечай, Кривонос да еще Богдан. Можно выиграть двенадцать битв кряду и ничего не получить для своего народа. Максим, я пил – не ты, оглянись вокруг! Мы и полдела не сделали, все дела впереди. Скажу тебе, одному тебе скажу: не знаю, как устроить мир. Не знаю, Максим! Как воевать, знаю, а вот что с миром делать? Спроста ли турки посылают нам в помощь хана? Неспроста. Им нужно одолеть поляков. Поляки стоят на их пути, на пути ислама. У семиградского князя своя забота. Присылал ко мне верного человека, уговаривал добыть ему польскую корону, а он за то признает меня князем. А ведь еще есть Москва. Она хочет ослабления и Польши, и Турции.

– Но черт побрал, архиепископа я приколошил все-таки! – закричал Кривонос. – Кончать нужно Речь Посполитую!

– Максим, хватит ли у тебя пальцев, чтобы посчитать вереницы лет польского засилья? Не хватит, Максим! А Украина жива! Да еще как жива. Не пойду я огнем и мечом по Польше. Нынче мы воюем с Вишневецким и панами, а тогда придется воевать со всей Речью Посполитой. Это не одно и то же, Максим.

– Заговорил-таки зубы! – Кривонос яростно крутился на каблуке волчком. – Ганжа, принеси вина! Заговорил ты мне зубы, вражий сын. Я уже уши развесил! Я уже слушаю... и согласен с тобой. Но, Богдан! Я тебя знаю! Ты вон в какую постель залез. Весь в соболях, в камешках блестящих. Богдан, ты бровью не поведешь, когда на украинский народ накинута новое ярмо. Позлащенное, может быть, но все то же ярмо. Да будет тебе ведомо, пока я жив, тому не бывать.

Ганжа принес новый кубок.

Кривонос выпил, роняя капли на синий простецкий жупан.

– Утро вечера мудренее, Богдан! Поеду! Там у меня казаки чего-то расхворались.

Хмельницкий вскинул брови, потянулся остановить полковника.

– Догони его! Ганжа! Верни! – Богдан вскочил на ноги, увидел, что в одном сапоге, нашел и натянул другой.

– Что еще не досказал? – спросил из дверей Кривонос.

Богдан поманил его рукой вглубь спальни. Кривонос упрямылся, стоял на месте.

– Некогда мне, Богдан! – повернулся уходить.

– Стой! – гаркнул гетман. – Иди сюда.

Кривонос хмыкнул, но подошел. Богдан потянулся, взял полковника за голову, шепнул ему в ухо:

– Не езжай к своим хворым казакам. Я легко согласился с говорильней Смяровского потому, что с запада идет моровая язва. Завтра еще до восхода солнца войска мои не отойдут, а побегут по моему приказу. От чумы побегут.

Кривонос отшатнулся.

– Вино, гетман, пьешь сладкое, а все равно сивухой несет.

Ушел.

– Не верит, ну и черт с ним! – махнул рукой Богдан. – Спать я хочу, Ганжа. Уходить утром всем! Не уходить, а бежать. Бежать!

Повалился в одежде на пышную панскую постель и заснул.

Глава четвертая

1

Тяжелыми хлопьями плюхался мокрый первый снег. Тяжелыми пепельно-коричневыми, черными, желто-зелеными клубами там и сям вдоль дороги поднимался дым. Люди жгли что попало, лишь бы отогнать от своих жилищ моровую язву.

Богдан ехал в легком лубяном возке. С утра ему думалось о Кривоносе. Максим был прав, когда укорял его за пышную постель. Ради Елены завел такую постель, а ведь весь на виду, вся жизнь на виду. Казаки на многое глаза закроют, а вот пышной жизни гетману не простят. Пышная жизнь не для казачьего гетмана, для коронного, а на всякого коронного у казака рука чешется.

Замаячила впереди деревенька. Треснутый колокол затрезвонил бестолково, но счастливо. Видно, с колокольни приметили казачье войско.

– Гетман где? Гетман? – Суматошные поселяне метались от возка к возку с хлебом и солью, прикрывая и хлеб, и соль от снега узорчатым рушником.

– Тебя, отец, спрашивают! – подскакал к возку Хмельницкого Тимош.

– Коли народ спрашивает, надо к народу идти, – многозначительно сказал гетман.

Возница свернул на обочину.

Хмельницкий вышел из возка. И тотчас за его спиной появилась и стала расти, как на дрожжах, казачья старшина.

– Мы тебя ждали! – кинулся к гетману мокрый попишка, рыженький, кудлатый, отирая локтем косматые брови, с которых капало, и заодно кругленький нос, с которого тоже капало. – Прими от всего христианского мира, за спасение наше, за храбрость твою, что один не побоялся встать против двенадцатиглавого дракона. Не побоялся, и вечная слава тебе в награду!

Попишка прослезился, перекрестил гетмана, дал ему поцеловать свой резанный из дуба деревянный крест. Тотчас скинул этот крест с шеи и надел на гетмана.

Крестьяне поднесли хлеб и соль, и Богдан отведал хлеба и соли. Приняв дар, передал его старшине. А снег сыпал такой, что и в двух шагах не видно было человека.

– Люди! – сказал гетман. – Вам низкий поклон, что не оставили меня один на один с драконом.

Поклонился, коснувшись рукой земли.

– Много еще всякого будет на нашем пути, но Бог не оставит нас.

Гетман сел в возок, и тот возок скоро затерялся на дороге среди экипажей всяких мастей.

Богдан держал на ладонях деревянный крест и думал: «Первая моя награда. Может, самая дорогая. Хорошо как сказал кудлатый поп: “За храбрость”. То-то и оно! Кто смел, тот и съел».

И встрепенулся: не те слова сказал людям. Больно мудро сказал, надо было проще. Надо было сказать так: «Не выдам вас, люди. Никому! Никогда!» И крест поцеловать. Вот что надо было сказать. Вот ведь что!

К возку подскакал Иван Выговский:

– Богдан, можно к тебе?

– Лезь.

Генеральный писарь с седла ловко перевалился в возок. Глаза блестят, нехорошо блестят. Иван чувствует это, прикрывает их веками.

– Ты только не очень... Весть недобрая...

– Что?!

- Кривонос от моровой язвы помер.
- У-у-у-у! – Богдан закрутил головой, словно его по глазам ударили.

2

Двенадцатого декабря в Острог, где остановился по дороге в Киев Богдан Хмельницкий, хорунжий новгородский Юрий Кисель, сын Адама Киселя, привез письмо от короля.

«Начиная светлое наше царствование, по примеру предков наших, пошлем булаву и хоругвь нашему верному Войску Запорожскому, – обещал Ян Казимир, – пошлем в ваши руки, как старшего вождя этого войска, и обещаемся возвратить давние рыцарские вольности ваши. Что же касается смуты, которая до сих пор продолжалась, то сами видим, что произошла она не от Войска Запорожского, но по причинам, в грамоте вашей означенным».

Король провозглашал полную амнистию участникам восстания, заверял своим королевским словом, что впредь Войско Запорожское будет под личной властью короля, а не старост, и выражал согласие с требованиями казаков уничтожить унию, уравнивать в правах веру православную с католической.

За все эти милости гетман обязан был отослать орду из Войска и без всякого промедления распустить чернь, которая должна заниматься своим делом – пахать землю.

С татарами Хмельницкий простился еще под Замостьем. Орда, нагруженная добычей, ушла под Каменец-Подольский. Чернь тоже была уже распущена, и не только чернь, но и многие полки: казак истосковался по дому. Сбор войску был назначен на Масленицу.

Вслед за Киселем приехал в Острог Силуян Мужилковский, привез самые свежие вести из королевского дворца. В свите Яна Казимира пристроился ловкий шляхтич Верещак. Был он из украинцев и служил Украине верой и правдой.

Шляхта узнала о королевских милостях Войску Запорожскому и толпой пришла во дворец и кричала на короля:

«Хмельницкий и Кривонос по миру нас пустили! Умыли Украину кровью, а ты, король, считаешь их за приятелей своих! Идем, король! Идем всей Речью Посполитой на проклятых!»

Король толпы не испугался и ответил ей с достоинством:

«Если бы мы не проявили милость теперь к Хмельницкому и всему Войску Запорожскому, то было бы нам всем от них еще большее разорение. Ни Войско, ни хлопы еще не усмирились. Татары у Хмельницкого всегда наготове, а на коронное и на литовское войско казнь Божия – везде их казаки побивают. Подумайте об этом, чтоб в конечном разорении не быть. И еще советую вам рассудить вот о чем. Казаки веками служили Речи Посполитой исправно и доброхотно. А чем вы за эту службу им воздали, кроме насилия и разоренья? Нынешнюю междоусобицу казаки начали по крайней нужде».

Шляхта выслушала Яна Казимира, однако стояла на своем.

«Либо казаков истребим, либо они нас истребят!» – кричали они.

«Лучше нам всем помереть, чем видеть такое бесславые, чем уступить хлопам своим!»

И пришлось Яну Казимиру говорить на сейме иные слова, иные давать обещания.

«Изгнанным королевским подданным, – объявил он, – все имения и домашние огнища будут возвращены... И да не минует виновных месть за пролитие шляхетской крови. Как разнужданная своеволя жаждала крови, так, с Божьей милостью, она будет утопать с своей собственной».

Были у Силуяна Мужилковского и другие вести, столь же нерадостные.

Польный гетман Фирлей отдал приказ уничтожить своевольные казачьи отряды согласно строгим военным мерам и отправил в Галичину карательный корпус под командой коронного подчашия Николая Остророга.

Появился на Украине князь Корецкий. Режет крестьянам уши, сажает ослушников на колы. Януш Радзивилл вошел в Олыкскую волость с тысячью жолнеров.

Выслушав донесение Мужилковского, Хмельницкий тотчас потребовал себе лист бумаги и своей рукою начертал универсал к шляхте. Он потребовал, чтобы паны «никакой злобы не имели, как против своих подданных, так и против русской религии... И сохрани Бог, чтобы кто-нибудь упрямый и злобный бросился на пролитие крови нашей христианской или на убийство бедных людей. Это привело бы к великому вреду Речи Посполитой».

Королю он тоже написал письмо, не очень логичное, но вполне гневное: «Плохо было с нами, когда вы вначале обманули нас, а именно старшину Запорожского Войска, своими подарками, чтобы мы отделились от черни, и мы по вашим словам это сделали, но сейчас мы вместе, и никакой Бог не поможет вам больше на нас ездить».

3

Полковники пили, лихо, с похвальбой, как пьют одни победители.

Богдан от молодых отставать не пожелал и отяжелел.

– А где Кривонос? – спросил он вдруг, обводя полковников недобрый взглядом. – Почему, спрашиваю, на пиру нашем нет Кривоноса? Что это он сторонится нас? Выговский! Объясни мне сие.

– Гетман! Так ведь Кривонос-то!.. – воскликнул храбрец Данила Нечай, однако тоже не договаривая.

– Нет у нас Кривоноса! Эх, Данила! – Богдан сокрушенно покрутил головой и заплакал. – А позвать сюда Киселя! Молодого Киселя! Я его съем!

Иван Выговский засмеялся, оборачивая все в шутку, но у пани Елены глаза стали темными от тревоги.

– А не позвать ли дивчин, чтоб песни спели?

– Киселя! – грянул Богдан, пристукнув кулаком по столу.

За Киселем побежали, привели.

Молодой гордый пан шагнул от дверей на середину залы: пировали в замке.

– Ты как посмел привезти ко мне столь дерзкое письмо? – спросил Хмельницкий.

– Это письмо его величества короля! – вскинулся Кисель.

– Их величеств, как гороха в мешке, а Хмельницкий один! Немедленно забирай это глупое письмо и убирайся.

– Ваша милость, дозволейте оставить решение дела до утра.

Кисель-сын был все-таки неплохим Киселем.

– Ничего я тебе не позволю, – тихо сказал Хмельницкий, медленно поднимаясь из-за стола, как встает из-за горизонта грозовая туча. – Ты почему руку у моей жены не поцеловал?

– Ваша милость! В вашей воле оскорблять меня, но я не какой-либо мужик! Я – посланник его величества короля. Что же касается этой пани, сидящей возле вас, то она, насколько известно, не ваша жена, но жена пана Чаплинского.

– Взять его! – закричал Хмельницкий. – Лаврин! Капуста! Возьми его и – голову ему долой. Тотчас принести и показать мне его голову.

Киселя выволокли из залы. Выждав минуту, вышла следом пани Елена. Догнала казаков, тащивших на улицу Киселя.

– Лаврин! Отмени казнь!

– Но это приказ гетмана.

– Отмени казнь. Отсечь голову можно и завтра. Не послушаешь – твою голову попрошу у гетмана.

Полковник Капуста остановился, поглядел на пани Елену долгим тяжелым взглядом.

– Будь на этот раз по-твоему.

Наутро Хмельницкий проснулся еще более мрачный, чем был за вчерашним столом.

Елена поставила перед ним «похмелье»: горячий суп из баранины, наперченный, насоленный, с огурцами, чесноком, луком.

Богдан жадно глотнул несколько ложек варева, желудок встрепенулся, заработал, боль из головы уходила, но гетман не повеселел.

– Я задержала казнь, – сказала Елена.

Богдан быстро глянул на нее. Обнял, поднял, закружил по комнате.

– Слава тебе, Господи, что послал мне умную жену! Да не казак я, коли короли не будут у тебя руку целовать!

По щекам Елены скатились две слезинки, всего две: Богдан подумал – от радости, а это Елена вспомнила себя Хеленой, когда мечтала быть хозяйкой в сельском доме, со множеством хорошеньких своих детишек, с тихими прудами под окнами дома, с вербами на прудах, с водяной мельницей...

4

Серебряный гул ударился о киевские горы, отпрянул от них в густую синеву зимнего неба, и тогда услышали этот великий гул за двадцать верст. То раскатали на колокольне Печерской лавры колокол по имени «Балык».

Со всех киевских холмов вдогонку за старшиной ударили разом все большие и малые колокола.

Люди знатные, значащие чего-то в жизни и вовсе никудышные, без звания, без имени, все, все спешили прочь из дому. Ехали, шли, ползли к Золотым воротам, становились вдоль дороги от самого Лыбедского леса до паперти Софии, великого киевского храма, пребывающего в нищенском рубище со времен набегов золотоордынцев.

Сгоревшая святыня дороже людям, потому что видно, как страдала. Не хуже, чем они. Монахи убрали паперть коврами, выстлали коврами дорогу, и она пылала огненно на бороздате морозном солнце среди кипени белых пышных сугробов, под сверкающим кружевом заиндевелых деревьев.

Уже рокотала, катила к Киеву говорливая волна людской радости, и навстречу ей от палат митрополита тронулось шествие; на оранжевых, солнцеподобных, крашенных лошадях сверкала алмазами сбруя, сани были устланы собольими пологами и персидскими коврами. В санях ехали Киевский митрополит Сильвестр Косов и заморский гость, путешествующий из святого града Константинополя в святой град Москву, – патриарх Паисий.

Сильвестр Косов был тучен, вальяжен, на лице сановитое неистребимое презрение, в глазах юркий, мышинный ум, все знающий, всего страшась, во всяком деле помнящий о своей норке. Патриарх Паисий был по-южному красиво смуглый, глядел открыто, ласково. Карие большие глаза его успевали найти в толпе несчастного и ободрить, но и всякий в толпе мог поклясться, что патриарх посмотрел на него, его благословил. То было пастырское умение всех видеть и для всех быть добрым, хотя у патриарха по сердцу кошки скребли. Казна константинопольская была неизлечимо худа, недруги выплетали сеть интриг, турецкие власти грозили расправой, и ехал он в Москву не ради погляду, а за милостью.

За высшими иерархами шли священники и монахи, а потом казаки с полковником Кричевским, под зеленым знаменем с гербом: на красном поле две княжеские короны, на белом – медведь.

Конь у Хмельницкого как снег поутру бел, васильковая кирея поверх алого кунтуша, словно цветущий луг, на шапке чистой воды камень с синими, стреляющими по сторонам

лучами, над камнем непорочной белизны султан, на лице радость, за плечами, словно крылья, – малиновое знамя.

Люди кричали, кидали шапки, целовались. Кто-то скинул с плеч и бросил под ноги Богданову коню атласный плащ. Колокола не умолкали. Грянули пушки. И подумал Богдан: «Как много может сделать один человек для многих людей, если только тот один человек о себе думать забывал».

Гетман сошел у Золотых ворот с коня, принял благословение патриарха. Митрополит Косов усадил его в сани по правую от Паисия руку, сам сел по левую. Поехали под дивное пение украинских церковных хоров.

На паперти Софии ученики академии читали в честь героя латинские стихи, величая Моисеем русской веры.

5

«Господи! – думал Богдан, сидя на пиру за одним столом с патриархом и митрополитом. – Господи! Сколь высоко Ты можешь вознести человека. Всего год тому назад я завидовал зверю, у которого на зиму была нора. Жизнь казалась прожитой и погибшей».

Патриарх Богдану нравился. Этот человек всякого повидал на веку. Со своей патриаршей вершины, будучи первым иерархом православного мира, он, не зная покойных дней, не обзавелся высокомерием, не проникся собственной исключительностью. Митрополит Косов слова в простоте не сказал, все по-латыни, изрекая да цитируя. Паисий выпил вина, поглядывая на гетмана с таким дружелюбием, что Богдан все время удерживал себя, чтобы не подмигнуть.

И завертелся у него на языке вопрос.

– Тебя, сын мой, что-то гнетет? – полуспросил, а скорее позвал на откровенность патриарх.

– Великий иерарх, – признался Богдан, – все мы под твоей доброй волей. Ты – все видишь.

И почувствовал, что краснеет, краснеет, как сын его Тимошка. Ох, неистребима в человеке дурь, будь он гетман, царь или папа римский. Свекла на морде – мозги на ветер.

– Обвенчай ты меня, Бога ради, ваше святейшество! Ни у кого на то воли нет, кроме тебя, великого.

Брякнул и обмер.

– Я знаю эту историю, – сказал Паисий. – Возьму грех на себя.

– Тогда изволь! Правда, жену мою я отправил в Чигирин.

Хмельницкий призадумался.

– Ты желаешь, чтобы я отпустил тебе грехи сегодня же?

– Чего же ждать завтра, когда есть у нас доброе нынче?!

– Ты пил вино. Я не могу тебя исповедовать.

– А без исповеди отпустить грехи никак невозможно?

– Все возможно, сын мой!

– О, святейший! Гору снимаешь с моей обремененной души. Великую гору.

Из митрополичьих палат перешли в церковь. Патриарх отпустил Хмельницкому грехи, разрешил обвенчаться с мужней женой и в награду от гетманских щедрот получил тысячу золотых монет да шестерку лучших лошадей.

Патриарх Паисий отдалил святыми реликвиями. Было гетману дано: три самовозгорающиеся свечи, молоко Пресвятой Девы и миска лимонов.

Той же ночью у гетмана с патриархом случилась долгая, душевная беседа.

– Я еду в Москву, – сказал Паисий, – потому в Москву, что она – единственная сущая в мире опора православной церкви. Есть Василий Лупу, всячески украшающий землю храмами

и монастырями, но он вассал турецкого султана. Есть скряга Матей Бессараб, который тоже не даст нашу Святую Матерь в обиду, но и Бессараб ходит у турок на цепи. Униатская ересь – злонамеренная кознь папы римского, задумавшего подрубить корни дуба, чтобы затем сжечь погибшее от жажды дерево. Смотри, гетман, в тысячу глаз, как бы тебя не обошли, не оплели невидимой сетью измены.

– Я и сам знаю, что сети уже плетут на мою голову, – согласился Богдан. – Король одной рукой дает мне булаву, а другой рукой дает врагам моим меч против меня. Коронным гетманом поставлен Иеремия Вишневецкий. Недолго будет этот князь региментировать у меня. Сам в Крым поеду и освобожу прежних гетманов, если слово дадут помириться со мной. А не дадут слова, велю им головы поотрубить. А этот князек у меня за Днестром не показывайся!

– Ты, я вижу, сын мой, во всем полагаешься на хана, но можно ли ему так доверять? – опечалился Паисий. – Я ли не знаю, чего стоят заверения вельмож Османской империи? Православному ли человеку ждать искренности от мусульманина, для которого война с гяурами – священный закон?

– Но что же мне делать?! – воскликнул Хмельницкий.

– Просить помощи у московского царя.

– Царь глух к мольбам! Я написал ему два стога писем, а в ответ – туман.

– Только соединившись с Москвой, Украина обретет мир, а церковь наша православная – станет твердыней, на которую все мы, живущие на зыбких островах святой веры, будем уповать, потому что острова наши посреди враждебного моря погибели.

– Заступись за меня перед московским царем, святейший отец!

– Я обещаю тебе мое заступничество, но думаю – этого будет мало. Ты должен отправить к царю полномочное посольство.

– Если я отправлю посольство в открытую, меня митрополит Косов анафеме предаст, а то и отравит. Давай, святейший отец, правде в глаза поглядим. Выгодно ли Киевскому митрополиту Москве поклоняться? Да нет же! Нынче он сам себе князь. Подчинен он твоей святой деснице, но Константинополь далеко, а Москва – рядом.

– Что ж, сын мой, твоя прямота достойна уважения! Тем более что я знаю, как ловко ты умеешь постоять за интересы Украины, не только мечом, но и словом, и лаской, и многотерпением. Послушай, однако, моего совета. Мне в дороге надобна вооруженная охрана.

– Понимаю, святейший!

– Пошли во главе этой охраны человека, в посольских делах сведущего. О том, что это твой посол – будем знать ты, я да он сам.

– И еще генеральный писарь! – сказал Богдан. – Благодарю тебя, отче! Ты меня наставил на путь истины!

Может, чересчур жарко сказал. Патриарх Паисий посмотрел гетману в глаза и вздохнул:

– Я не хитрю, сын мой. Положение восточной церкви столь затруднительно, что мы одной правдой живем, ибо других крепостей у нас уже нет.

Богдан Хмельницкий пришел поклониться печерским святым.

По ближним и дальним пещерам его водил игумен лавры архимандрит Тризна, игумен братского монастыря, ректор киевской коллегии Иннокентий Гизель и прочая, прочая: архимандриты, игумены, иеромонахи.

Рассказывали об основателе Печерского монастыря преподобном Антонии, чья святость была столь угодна Богу, что его мощи остались под спудом. Рассказывали о другом великом строителе монастыря, восприемнике Антония преподобном Феодосии.

– Однажды князь Изяслав пригласил преподобного Феодосия в свой дворец и пребывал с ним в спасительной беседе до позднего вечера. – Игумен Тризна, привыкший поучать, истории выбирал нравоучительные. – Видя, что наступает ночь, князь приказал отвезти святого отца в

удобной тележке. Кучер пригляделся к ездоку и увидал, что монах одет в ветхую бедную рясу. «Послушай, – сказал он преподобному, – я целый день мотался в седле, давай-ка поменяемся местами». В те поры для кучера козел не устраивали, кучер правил лошадью, сидя верхом. Преподобный уступил удобную тележку вознице и то ехал верхом, то шел пешком, и к монастырю они приблизились только утром. Преподобный Феодосий разбудил кучера и сказал, что им пора занять свои места. «Что я наделал?» – испугался кучер, когда увидал, с каким почтением встречают в монастыре бедно одетого седока. Но преподобный ни словом не обмолвился о происшествии и сам за руку отвел кучера в трапезную. Тут кучер и покался перед людьми в своем грехе.

Хмельницкий прикладывался к мощам, дарил монахов серебром и был вполне доволен приемом, но когда вся эта ставшая огромной процессия возвращалась из дальних пещер, к гетману подошел монастырский келарь и попросил разрешения сказать слово.

Получив разрешение говорить, келарь указал на трех крестьян, стоявших за его спиной.

– Эти разбойники, – сказал он гневно, – отобрали землю у инокинь женского монастыря, а когда Христовы невесты сделали попытку урезонить самоуправцев, то насильовали их и потом погналы прочь.

Гетман выслушал келаря и обратил глаза на мужиков.

– Так ли было дело?

– Гетман, – сказал один крестьянин, – отпираться нам нечего. Мы за эту землю с тобой в поход ходили, многие наши костыми легли. Что в Константинове, что в Полонном... Свое мы взяли, а монашкам – урок, пусть не лезут к мужикам.

– Ты сам был среди насильников? – спросил гетман.

– Был.

– Тогда слушай. Чтобы всякий самозванно не присваивал себе власть, приказываю – казнить обидчиков монахинь.

Охрана гетмана всегда наготове. Молодцов схватили, вывели за ограду лавры, поотрубали им головы.

Гетман тотчас уехал в свою резиденцию, где написал два универсала. Один – Киево-Печерскому женскому монастырю, обязывая его крестьян по-старому быть у монастыря в послушничестве. «Бо мы со своим войском не хотим от монастыров; особливо от богих законниц подданных отыймоваты», ибо они «в щоденных молитвах своих и Войска Запорожского не забывают». Второй универсал был даден Никольскому монастырю на владение климьинскими землями, ранее принадлежавшими князю Вишневецкому.

И уж заодно на имя генерального писаря Ивана Выговского было отписано имение Александра Конецпольского. Казачья старшина начинала пожинаать победы, добытые большой кровью всего народа.

6

Всю ночь снился Богдану Кривонос. Будто костром озаренный среди ночи, стоит и смотрит на гетмана страшными своими глазами.

Богдан просыпался, пил водку и воду, но, стоило провалиться в сон, являлся Кривонос. «К перемене погоды», – успокаивал себя поутру гетман.

Пришли и сказали, что во всех церквах поют ему здравие.

Хмельницкий дал денег и велел во всех церквах поминать Кривоноса. Сам подался к чародеям и гадалкам.

Белый старик, в волосах и в бороде, как в саване, посадил его на осиновый пенъ, развел на жаровне огонь и, бросая в него соль, ладан, белую смолу, камфору и серу, трижды выкри-

кивал имена духов: Михаэль – царь солнца и молний, Самаэль – царь вулканов, Анаэль – князь саламандр.

Водил Богдана вокруг заклётого огня, приговаривая:

– Боже, утверди своей волей данное нам тобою помазание. Дабы они уподобились пыли под ветром и чтобы они были обузданы ангелом Господним, чтобы их пути сделались мрачными и скользкими и чтобы ангел Господен их преследовал.

Достал из огня бляху со знаком Юпитера и с начертанными по краям десятью главными именами Бога: Эль, Элоим, Эльхи, Саваоф, Элион, Эсцерхи, Адонай, Иах, Тетраграмматон, Садаи.

– Отныне рука предателя не коснется тебя, – пообещал старик, получая щедрую подачку.

Гадалки гадали гетману на будущее. У всех у них выходило, что впереди победы, долгая дорога и опять победы, слава, богатство.

В Киев съезжались послы, но всем им было сказано, чтоб ехали в резиденцию гетмана, в Чигирин, куда Богдан отправил Тимоша приготовить город для новой роли, роли казачьей столицы. От короля пришло известие о смерти бывшего киевского воеводы Тышкевича и о назначении на воеводство любезного гетману Адама Киселя.

Хмельницкий не возражал ни против приезда сенатора в Киев на воеводство, ни против приезда комиссии во главе с Киселем для переговоров и установления скорейшего мира. Забот было много.

Первые вернувшиеся на свои земли арендаторы были убиты. В местечке Роздале мещане разгромили шляхту. В покутье хлопский магнат Семен Высочан оборонял переправы.

Шляхта объединялась в отряды, крестьяне – в ватаги. Не было мира на земле.

Вишневецкий собирал войско, король помогал ему, митрополит Косов направил втайне от гетмана навстречу Адаму Киселю своего доверенного человека.

И гетман, зная обо всем этом, решился.

В послы к московскому царю он выбрал полковника Силуяна Мужилковского.

Выговский предлагал Тетерю, но гетман решил по-своему.

Торжественно, под колокольный звон уезжал из Киева патриарх Паисий, и мало кто знал, что колокола рассыпают серебро и медь еще и в честь первого украинского посла, едущего пока что тайным обычаем в патриаршей свите ради великого дела соединения двух сердец русских в одно великое сердце, каким ему назначено быть издревле.

Река, разошедшаяся в веках на старицы и руслица, из коих многим грозило обмеление, под натиском бури катила поверху, стремясь слить все свои воды в единый поток, в единое державное русло.

Часть вторая. Тимош и Тимошка

Глава первая

1

Тимош лежал на голой лавке, сунув под голову оба кулака. Было в нем так черно и вязко, словно деготь из него гнали.

На весь дом пиликала нежная музыка. Отцова баба возомнила себя королевой, из-под земли, что ли, сыскали для нее скрипачей, и те целый день перепиливали смычками струны и уж если чего перепилили, так Тимошево терпение.

Как только себя не успокаивал казак. Музыканты пиликнут – он плюнет. Половину потолка заплевал, а на другую слюны не хватило, так свело судорогой скулы, хоть кричи.

– Ведьма! – Тимош вытащил кулаки и принялся разглядывать ладони, сжимать и разжимать пальцы. – Вот пойду иогрею душеньку.

Говорил, зная, что пустое говорит. Упади с головы крали волос, отец лошадьми велит разорвать всякого, хоть сына. А слово отца на Украине исполняется нынче, как в самой Москве не исполняется.

– Музыкантов велеть прибить? – нехотя размышлял Тимош и вскочил, саданул ногою дверь, вышел на мороз.

Чистое небо светилось, как голубиное яичко. Снег лежал пышно и нежно, и не морозом – стыдомхватило Тимоша за щеки. Излился весь, сидя дома, а тут вон какая благодать. Тихо, ясно. Сердце нырнуло в голубое, как в море, и вся злоба растворилась в этом море с такой легкостью, что Тимош головой покачал да и засмеялся.

Пошел по Чигирину, а за ним трое. Оглянулся, хотел казакам приказать, чтоб не смели по пятам ходить, да только рукой махнул. Им велено беречь гетманова сына – они и берегут.

Шел Тимош у города на виду, а хотелось ему как прежде пройтись, чтоб никому до него не было дела. Прежде он глядел на людское житье, ныне – на него глядели. Да и неправда это! Не на него, Тимоша, таращились – на гетманова сынка, на власть нынешнюю.

И само собой окаменевало лицо у парубка. Подшибить бы ногой мороженные лошадиные котяхи – нельзя. Чин нужно блюсти. И сам ведь не простак – сотник!

Досадуя на свою оглядку, свернул Тимош с главной улицы на улочку, а там в проулок да бегом: от телохранителей и от всего теперешнего, что, как гора, стояло над ним.

Прыгнул за сараюшку. Затаился.

Скворчиная голубизна успела засинеть. Над рекою, вдали стояло белое, промерзшее, как простыня, облако. Его тоже небось можно было и согнуть, и сломать, и вдребезги расколотить.

Услышал: поют.
Ой ды наша коляда
Не великая беда!
Она в двери не бьет,
Не пугает народ.
Прикажи – не отвади
Либо шубой награди.

– Колядки поют, – затосковал сердцем Тимош. – А пойду-ка я к парубкам... Вот возьму да и пойду. Мне самая пора – гулять с парубками.

Снял шапку, на руке покрутил: хороша шапка.

– Эй ты! Чего стоишь?

Тимош, как заяц, чуть не умер со страха.

Дивчина на тропе, шагах от него в десяти. С коромыслом. Узнал: Ганка. Брови изогнулись, румянец играет.

– Стою. – Все Тимошево упрямство надавило ему медвежьей лапой на темечко.

– Приходи ко мне на свадьбу! – сказала Ганка, разглядывая гетманова сына с нескрываемой жалостью.

Тимош молчал.

– Чего глазами зыркаешь? Прозевал дивчину.

Ганка засмеялась и, нарочито покачивая бедрами, пошла тропкой к дому, обернулась.

– Принцесса-то сыскалась для тебя?

– Сыскалась! – крикнул Тимош и показал девке язык.

– Я тебя на мою свадьбу пригласила. Не забудь ты меня на свою пригласить.

– Приглашу, не бойся! – Тимош подпрыгнул, оторвал с крыши сосульку и так захрустел ледышкой, что у самого мороз по спине пошел.

Махнул в два прыжка на тропу и пошел, куда повела.

Тропа вела под гору, к воде. Черную прорубь уже затягивало на ночь ледком. Тимош поглядел за реку на белые кудри леса, и захотелось ему, как лосю, ломиться сквозь пушистые снега. Ломиться, чтоб лес гудел, чтоб сыпался снег с высоких деревьев, чтоб волк драпанул из логова.

– Тимош!

Карых и Петро Загорулько, в шубах и рукавицах, шли через реку соседней тропой.

– Пошли с нами!

– Далеко?

– В лес.

– На ночь глядя?

– А чего днем там делать? – дернул плечами Карых. – Ночка-то сегодня последняя перед Рождеством.

– Ну и что?

– Сам знаешь что. Нынче ночью ведьмы – как беззубые кобели. Силы-то у них нынче никакой.

– Клад, что ли, идете искать? – удивился Тимош.

– А чего? Нынче ночью все деньги, в землю зарытые, синим огнем горят. Брось шапку – в рост копай и добудешь. Брось пояс – по пояс копай. А мы сапоги кинем, чтоб копать по колено.

– Пойдемте со мной в поход, три клада добудете.

– Какой поход! Замирение.

Тимош промолчал. Теперь и ближнему другу не скажешь всего, что знаешь.

– Пойдешь? Не денег ради, а чтоб удачу попытать!

– Гонец сегодня будет, – сказал глухо Тимош. – На мою долю накопайте, я вас тоже не забуду.

Отвернулся. Парубки пошли, оглядываясь на молодого Хмеля, и тот тоже посмотрел им вслед, и лицо его сморщилось. Хотел улыбнуться – не улыбнулось Обида взяла за грудки, да тоже обмякла. Так и стоял с лицом что печеное кислое яблоко.

2

Монах был выше Тимоша на три головы. Статный, с огненным синим взором, с бородой шелковой, русой, с губами розовыми, как цветок. Он осенил казака крестным знаменем и потом поклонился учтиво, но с достоинством.

Тимош глядел и слушал красавца в рясе, и злоба, как пыльным мешком, накрыла его.

Не отвечая на приветствия, косясь через плечо на обозного Черняту, пришедшего на прием посланца Иерусалимского патриарха Паисия, Тимош ткнул рукою себе за спину, где стоял приготовленный для трапезы стол, и буркнул:

– С дороги выпей да поешь.

Монах опешил от столь явной нелюбезности, но нашел в себе силы улыбнуться с заго-ворщицким простодушием.

– Его святейшество кир Паисий своей святой волей устранил все преграды, омрачавшие блистательные дни вашего отца, и я с величайшим наслаждением подниму здравицу за счастье великого гетмана Богдана и его законной супруги, несравненной пани Елены.

Тимош ухмыльнулся, сплюнул и тотчас наступил сапогом на свой плевок.

Монаха озарило – сын Хмельницкого мачеху любовью не жалует, но было непонятно другое: кто ныне истинный хозяин в Чигирине – пани Елена или этот молодец? Патриаршие подарки: молоко Пресвятой Девы, блюдо лимонов и самовозгорающиеся свечи – были отданы самым ничтожным образом. Монах получил из рук пани Елены кошелек с пятьюдесятью талерами. Ладно подарки, но благословение на брак! Заочное бракосочетание, которое возвело мужнюю жену ничтожного шляхтича если не в королевское, то по крайней мере в княжеское достоинство! Патриарх Паисий ждет иного подарка. Княжеского, если уж не царского. Ведь киевские иерархи совершить противозаконный брачный обряд отказались со всею непреклонностью...

Участь дипломатов – скрывать и радость, и ярость, терпеть незаслуженные обиды, первыми принимать на себя беды, уготованные для их повелителей и народов.

– Пей! – сказал Тимош монаху. – Ты пей. В твоём Иерусалиме такой крепкой водки днем с огнем не сыщешь.

– Крепость русской водки не уступает силе русских воинов, – нашелся монах.

– Ты пей! Пей! – Тимош подливал водку в кубок гостя и, чтобы тот не увиливал, пил сам.

«Господи, помоги! – держась из последних сил, взмолился монах. – Этот варвар вознамерился унижить меня посредством водки через потерю разума».

Когда твоя напасть перед тобою, лучше не думать о ней – накличешь беду на свою голову.

Тимош навалился вдруг на стол грудью и не мигая разглядывал монаха, словно примеривался, с какого боку за него взяться удобнее.

– Что, черная курица, боишься?

Монах опустил длинные ресницы, покраснел. Он боялся пьяных казаков. Могучий, как бык, он так мог хлопнуть по этой куражащейся морде, что она растеклась бы по столу киселем, но ему надо было терпеть, и он терпел, хлопал ресницами, а Тимош совсем распалился.

– Ты почему к ней первой побежал? – спросил он, усаживаясь прямо и грозно сдвигая брови. – Приехал в Чигирин – явись ко мне. Когда отец дома – он хозяин. Когда отец в отлучке – хозяин я.

– Благословение патриарха и подарки были для пани Хмельницкой, – ответил монах твердо.

– За то, что ты – дурак, вот тебе! – Тимош схватил со стола свечу и сунул огонь в шелковую бороду монаха.

Пыхнуло пламя, затрещало, завоняло паленым. Монах, воя, вскочил на ноги, метнулся вон из горницы.

Тимош кинул свечу ему вдогонку и хохотал, хохотал, и все, кто были за столом, хохотали.

3

Два канделябра о десяти свечах каждый, как светоносные крылья ангела, горели за плечами. Пани Елена сидела перед зеркалом, и в руках у нее была корона. Бог весть чья и какого достоинства, княжеская, королевская, а может, и воистину корона, оставшаяся от византийских императоров, кем-то потерянная, кем-то подобранная и спрятанная в сундук, а теперь попавшая к ней среди прочей добычи. Пани Елена в коронах толка не знала, но ее охватывал трепет от одного только сознания, что она – владельница пусть безымянной, но – короны. Оглянулась – нет ли кого в комнате ненароком? Отложила корону. Подошла к двери, набросила крючок. И снова села перед зеркалом.

Она была в платье, расшитом жемчугом и большими синими сапфирами. Камни сверкали, мерцал жемчуг, но глаза ее были загадочнее жемчуга и ярче камешков. Она улыбнулась себе, будущей. Подняла корону и медленно возложила ее на гордую свою голову.

Перед нею была царица.

Пани Елена придвинулась к зеркалу, чтобы получше разглядеть это удивительное видение, возникшее перед нею... из ничего.

Господи! И эта царица могла бы всю жизнь заниматься варениями и соленьями по рецептам хлопотуньи пани Выговской. Отирать сопливые носы золотушным детишкам.

Пани Елена, обживая новый свой образ, подошла к столу. Из высокого серебряного сосуда, тонкогорлого, покрытого письменами восточных мудрецов, налила в перламутровую, тонкостенную раковину, оправленную в золото и серебро, благоуханного вина и выпила глоток.

Взгляд упал на дорожку, расстеленную по горнице от порога до зеркала. Это был обыкновенный половик, такие она не раз и не два скатывала в доме пани Выговской, чтобы служанки унесли и выбили.

Пани Елена лихорадочным взглядом окинула комнату. На стенах шелк и атлас, бархат кресел, слоновая кость, инкрустации, драгоценное дерево... и домотканый половик. О эти глупые казачки-служанки!

Она сама, как что-то постыдное, сдвинула его ногой. И все думала о пани Выговской. Думала с неприязнью, думала как о несмываемом позоре. Это она, милейшая пани Выговская, приучала ее, и ведь приучила, к мысли, что лучшая женская доля, настоящая жизнь – среди пеленок, телок, курей, поросят...

А дети самой Выговской – все ее Иваны, Данилы – от тихой прелести хуторов кинулись, как от чумы, головой в бучу, в ту бучу, которую затеял на старости лет тоже ведь домовитый казак... И в жены себе паны Выговские не простушек взяли, которые умеют квашню поставить; им княжну подавай. А нет княжны, и княгиня сойдет.

Пани Елена слышала, что пани Выговская войны не пережила. Разбил ее паралич, и Бог смилостивился, не дал зажитья до пролежней – прибрал, а муж, старик, тотчас в монахи подался. Было у клуши соломенное гнездо, да первым же ветром развеяло то гнездо по белу свету.

...В дверь дернулись.

– Кто? – спросила пани Елена, снимая корону, и, не зная, куда ее сунуть, кинула на пол и закатала в половик.

Стена вздрогнула от удара, дверь словно бы присела, и ее так рванули снаружи, что крючок предательски порхнул вверх.

На пороге стоял Тимош.

Вошел в комнату, запнувшись поочередно ногами за порог.

– К тебе, – сказал, отирая пот с верхней короткой губы.

– Я не могу вас принять в таком виде! Вам надо проспать! – закричала от страха пани Елена.

– К тебе! – упрямо сказал Тимош и пошел на нее. Она схватила колокольчик, затрезво-
нила.

– Убью! – замахнулся Тимош, трусливо оглянувшись на дверь.

– Пошел прочь, хам! – приходя в себя, тихо, с ненавистью, с наслаждением сказала пани Елена, видя, что стража, ее стража, уже в дверях.

– Сын моего мужа ошибся дверью! – громко сказала пани Елена казакам. – Как это мимо вас прошел человек? Вы спали?

Казаки стояли потупясь.

– Ужо у меня! – буркнул Тимош, пошел прочь, зацепился за порог и тяжело грохнулся
об пол.

Дверь почтительно затворилась.

«Какого врага нажила я себе!» – подумала пани Елена, и сердце у нее затосковало такой
смертной тоской, что казалось, его можно было на ощупь найти в груди и понянчить.

И засмеялась. Вспомнила пани Деревинскую.

И всхлинула:

– Господи! Молим Тебя, чтобы дал нам, чего хотим! А Ты даешь одним такое, что и
придумать невозможно, другим же ничего не даешь.

Встало перед нею то утро, росное, голубое... Пани Ирена верхом: «Уж не к старцу ли
Варнаве вы так спешите?» И она, правдивая Хеленка, солгала, может, первый раз в жизни: «Ах
нет! Я еду проведать жену полковника Кричевского». Как она смеялась, пани Ирена, моло-
дая волчица с повадками старого шакала. И милая Хеленка, обескураженная откровенностью,
поехала-таки не к старцу Варнаве, а к жене Кричевского. Угощалась пирогами, сама себя уго-
ворив, что именно сюда и ехала...

– Выходит, Бог тебя мне послал, пани Ирена, – сказала вслух пани Хмельницкая.

4

И захотелось пани Елене увидеть пани Деревинскую, чтоб та – издали, конечно, со двора
– поглядела на теперешнее величие бедной девушки Хеленки.

Чаянно ли, нечаянно – глаза остановились на серебряной иконе Богородицы. Эта икона
была давняя, семейное богатство, единственно своя вещь пани Хелены.

Руки сами собой опустились.

– Боже мой! Боже мой! Да не бесовский ли вертеп вокруг?

И знала точно – бесовский. Вся нынешняя жизнь ее – от антихриста. Пропоят петухи,
и все прелести обернутся паутиной.

Пани Елена подняла руку перекреститься и не перекрестилась. Подошла к столу, налила
из драгоценного кувшина в драгоценную раковину драгоценнейшего вина и выпила до капли.

– А теперь мужика бы, который ночью не спит.

Пошла в спальню, скинула на ходу башмачки, расшитые жемчугом и камнями, а платья
стянуть сил не хватило. Ухнулась на княжеские, пограбленные, как все в этом доме, перины
и заснула тяжелым, грешным сном.

Пани Ирена Деревинская потчевала припозднившихся гостей скромной трапезой и столь
же скромной беседой. Хозяйка поместья пани Фирлей, наложившая на себя тяжкий пост, к
гостям не вышла, а гости стоили того, чтобы принять их со всей любезностью и уважением.

Его милость пан Адам Кисель отправлялся в логово Богдана Хмельницкого на переговоры, от которых зависели судьбы тысяч и тысяч изгнанников и, может быть, самой Польши.

Вместе с брацлавским воеводой в посольстве были львовский подкоморий Мясковский, новогрудский хорунжий, брат воеводы Николай Кисель, брацлавский подचाший Зелинский, несколько комиссаров, секретарей комиссаров. Секретарем же посольства был назначен пан Смяровский. Для охраны наняли сотню драгун под командой капитана Бришевского, для особых поручений Адам Кисель взял совсем еще юного ротмистра, князя Захарию Четвертинского. Сам пан воевода ехал с женой, и то, что ее милость пани Фирлей не пожелала показаться гостям, было воспринято как неучтивость. Впрочем, неудивительная. Кисель и Фирлей разошлись во время суматошной кампании королевских выборов. Его милости пана Фирлея в доме не было, он находился в армии. И как знать, будь он здесь, отворились бы вообще ворота перед королевскими послами?

– Я прошу извинить нас, – краснея, говорила пани Ирена, – война уничтожила запасы... А пани Фирлей ныне совершенно не занимается мирскими делами. Да и все мы убеждены: один Бог может спасти нас и нашу бедную страну.

– В последний год совершенно столько противочеловеческого, противобожеского, – сказал князь Четвертинский, – что я никогда не поверю, будто все это от Бога. Бог оставил нас!

Пан Мясковский, сердясь на дурной прием, сказал прямо:

– По воле его королевской милости я был у польного гетмана литовского, чтобы взять для посольства двести лошадей. Его милость польный гетман дал двадцать лошадей. И ведь так – всюду. Сначала думают о себе. Государству перепадают крохи.

– Потом является какой-нибудь Кривонос и вразумляет шляхту, отняв у нее земли, замки, семью! – вспыхнул гневом Николай Кисель.

Старший брат его выпил плоток воды и устало сказал:

– Кривоноса земля взяла.

– Если я когда-нибудь сыщу его могилу, – вскочил на ноги князь Четвертинский, – я по косточкам, по косточкам сам, руками своими разорву этот проклятый костяк.

– Говорят, Кривоноса убила чума, – сказал Адам Кисель. – Лучше будет для всех, если вы оставите его могилу в покое.

– Почему же нет чумы на Хмеля?

– Если чумы на него нет, ее надо сыскать, – улыбнулся пан Смяровский.

5

Посольство двигалось медленно, с остановками. Останавливались в Гоще, во владениях Адама Киселя. Хозяйство было разорено, людей мало. Продовольствие крестьяне утаивали, запрашивали цены удивительные. И приходилось платить, чтоб не остаться голодными.

Побывав у князя Корецкого, посольство переправилось через реку Случ и было остановлено полковником Донцом, сотником Тышей и четырьмя сотнями казаков. Посольству было разрешено разместиться в имении Адама Киселя, в Новоселках. В Киев не пустили.

Комиссары гневались, в словах были неосторожны, покуда какой-то казак не показал им на реку:

– О! Вмерзли! До весны будут теперь на небо пляиться.

Санний поезд замедлил движение и остановился. Двадцать или тридцать трупов сковало льдом.

– Что это?! – вырвалось у князя Четвертинского. – Кто это?

– Ваши! Шляхта! – ответил казак простецки. – Их утопили, а они вон! Вынырнули.

Примолкли комиссары. В Бышеве прозял им выбоинами окон черный от копоти, совершенно разоренный замок.

Стучало у Адама Киселя сердце, когда показались Новоселки. Здесь была его родина, гнездо Киселей.

Он все-таки надеялся, что его встретят, послал впереди себя часть казаков и часть своих людей, чтоб приготовили дом, если цел, а уничтожен – так помещения. Но это был только предлог. Адам Кисель хотел, чтоб народ Новоселок был извещен о приезде хозяина. Пусть казаки посмотрят, что многовековое доброе содружество – народа и мудрых владетелей – сильнее войны.

У самых Новоселок он сбросил с себя тулуп, потянулся, заглядывая на дорогу: возница и лошади загораживали обзор, и увидел: пусто. Никого на окoliце. Ни одного человека.

Поехали по Новоселкам.

Пах-х! – тугой снежок со свистом рассек воздух и упал в сани, на тулуп. Не рассыпался – не детской рукой слеplен. Еще полетели снежки, попали в людей, лошадей.

Капитан Бришевский не стерпел, тронул лошадь с дороги поискать обидчиков. На него из-за хаты вышло человек двадцать крестьян, с самопалами, с ружьями. Капитан не успел развернуть коня в глубоком снегу. Схватили за руки, за ноги, сдернули с седла, отняли саблю и погнали к дороге взапей.

Драгуны безучастно глядели, как толкают их командира, и Адам Кисель, спасая положение, отдал им приказ стоять на месте.

Пана Бришевского пан Кисель взял в свои сани. Жена пана Киселя тотчас принялась ухаживать за капитаном, а того трясло от перенесенного публичного оскорбления, он рвался что-то приказать драгунам, молил дать ему пистолеты, Адам Кисель молчал, ожидая, пока капитан поостынет, а потом сказал:

– Мы приехали сюда добывать мир. Любой ценой. Любая наша промашка может обернуться несчастьем для всей Польши. Терпите, капитан!

Дом Адама Киселя был цел, но разграблен. Послали драгун по хатам – найти и вернуть кровати и стулья. Драгуны вернулись ни с чем. Кормить господина и его людей крестьяне отказались. Для лошадей продали по дорогой цене несколько снопов соломы.

– И все-таки дозвольте, ваша милость, поучить быдло! – бросился на колени перед Адамом Киселем капитан Бришевский.

– Как только вы отдадите приказ наказать бунтовщиков, – Адам Кисель взял капитана за плечи и настойчиво поднял с пола, – ваши драгуны, капитан, тотчас оставят нас один на один перед вооруженной, ненавидящей нас толпой.

– Значит, терпеть, сносить унижения, самим унижаться? Да они, почуяв силу, нас с вами впрягут в ярмо и погонят пахать нам же принадлежащую землю!

– Мы для того и прибыли сюда, чтобы прекратить безумства.

Адам Кисель достал из ларца, стоящего у его ног на полу, запечатанное письмо.

– Князь Четвертинский, полагаюсь на вашу расторопность. Доставьте письмо в руки Хмельницкому. Добейтесь от него пропуска в Киев. Это важно. Поезжайте тотчас.

Князь Четвертинский принял письмо, ушел.

– Теперь я попрошу ксендза Лентовского отслужить для католиков молебен, – сказал Адам Кисель. – Сам я, как знаете, исповедую православие и вместе с братом моим и с женою отправлюсь на службу в местную церковь.

– Но это же опасно! – воскликнул пан Мясковский.

– Не поздно ли думать об опасности, положив голову в пасть льва? – улыбнулся Адам Кисель. – Русские говорят: Бог не выдаст – свинья не съест.

6

Адам Кисель приехал к церкви в санках, с женой, с братом Николаем и двумя слугами. Ранее того в церковь было отправлено в простом платье шестеро слуг с оружием под одеждой.

Нищие на паперти, приметив богатый возок, завопили, перебивая друг друга, но – вдруг разом и смолкли: узнали. Протянутые за подаванием руки убрались.

Адам Кисель бросил на обе стороны две горсти мелких монет, и было слышно, как деньги катятся по каменным плитам. Слишком долго катятся.

Какая-то старушка, крестясь и кланяясь, кинулась отворить хозяину дверь, но ее пхнули и затерли, и Адам Кисель сам отворил тяжелую дверь и вошел в храм, построенный и украшенный на его деньги, его заботами.

Он двинулся на свое место к алтарю, но толпа, тихо стоявшая на обыденной службе, ожила, задвигалась и преградила дорогу большому Киселю и его киселятам.

– Пошли отсюда! – шепнул Николай, но Адам сдвинул упрямо брови, стал на колени перед облупившейся, темной иконой Богоматери на столике и принялся класть усердные поклоны. Когда он поднялся, было тесно от обступивших его семейство мужиков.

– Ишь, святоша! – сказал кто-то громко, и Адам, подняв невольно глаза, встретился взглядом с наглецом. Казак, затевавший скандал, был молод, смотрел на сенатора с насмешкой: попался, мол, голубчик!

– Мужики, перестаньте! – раздался урезонивающий женский шепот, но женщине тотчас возразили:

– А чего он? Пусть катится, пока холку не намяли.

– Безбожники! В церкви молиться надо. На воле счета сводите!

Толпа подналегла, и кто-то больно ткнул пана хозяина под ребро кулаком.

– Я старый человек! – сказал Адам Кисель народу. – Я приехал для устройства мира. Убережь вас и детей ваших от голода, от войны.

– Без тебя устроится! – крикнули из толпы.

– Пошли! – решительно потянул брата благоразумный Николай.

Адам взял жену под руку и стал протискиваться к выходу. Их толкали, им наступали на ноги.

– Не уедешь по доброй воле – спалим! – крикнули Адаму Киселю вдогонку. – Мы сами теперь над собой хозяева.

– Мы все казаки! Поищи дураков в другом месте.

– Да бейте же его, недобитого!

Трусцой пробежав по паперти, кинулись в подскочивший возок, унесли ноги.

– Господи, какая у людей ненависть! За что? – спрашивал Адам молчавших спутников, и слезы навертывались ему на глаза.

7

Промучившись еще день, посольство перебралось из Новоселок в Белгородку. В Киев горожане никак не хотели пустить польских комиссаров, а в Белгородке ни корма лошадям, ни продовольствия для людей купить было невозможно. За припасами посылали в Киев. Мера овса на киевских базарах стоила шестнадцать злотых, за сноп соломы брали по два талера.

Капитан Бришевский мыкался по базарам, рискуя головой. Плохой русский язык стоил ему переплаченных денег и злобных насмешек, а однажды капитана побили, не сильно, но обидно. Какой-то мужик грязной лапой смазал ему по физиономии, а другой дал пинок под зад.

– Терпеть! Все терпеть! – приказывал Адам Кисель.

Ждали возвращения князя Четвертинского, но Хмельницкий с ответом не торопился. Только ведь и Адам Кисель времени попусту не терял.

Ночью 3 февраля приехали в простых крестьянских розвальнях Киевский митрополит Сильвестр Косов и архимандрит Печерского монастыря Иосиф Тризна.

Архипастыри привезли сенатору хорошего вина, рыбы и мяса.

Сильвестр Косов на предложение отобедать сказал прямо:

– Мы приехали сюда тайным обычаем, а потому хотели бы побеседовать с вами, ваша милость, наедине, не откладывая разговора. Дороги ныне опасны, охраны же с собой нам взять было нельзя.

Втроем: Косов, Тризна и Кисель – закрылись в большой гостиной и вели разговор тихо, за столом, поставленным на середину.

– С чем ваша милость едет к Хмельницкому? – спросил митрополит.

– Везу гетману прощение короля, везу бунчук, булаву и мирный договор, – ответил тотчас Адам Кисель, понимая: всякое промедление с ответом вызовет недоверие, натянутость. Было ясно, что святые отцы приехали для беседы воистину доверительной... Приехали они, таясь от казаков, стало быть от Хмельницкого. Ну а если все это двойная игра?

– Что предлагает король гетману? – опять спросил митрополит.

– Три основных пункта таковы, – ответил сенатор, храбро раскрывая тайны будущих переговоров. – Свобода греческой религии, увеличение реестрового войска, возвращение запорожским казакам всех былых прав и свобод.

– Велик ли будет реестр? – спросил Тризна, изображая на лице беспокойство.

– Король и сенат согласны увеличить войско до двенадцати тысяч. Вполне доверяя вам, святые отцы, могу сказать, что у меня есть полномочия в крайнем случае согласиться на пятнадцать тысяч реестра.

Пастыри задумались.

– Не уступить казакам нынче невозможно! – горестно сказал архимандрит Тризна. – Они готовы всем скопом в реестр пойти. Никакое разумное число их не успокоит.

– Но есть ли из этого тупика выход? – спросил Адам Кисель.

– Есть, – сказал митрополит. – На Украине голод. Обстоятельство это заставит нашего героя быть сговорчивым. Но вашей милости ни на минуту нельзя забывать, что чувствует он себя спасителем народа, Моисеем. И народ действительно расположен к нему. Правда и то, что народ этот стал негодный. Он совершенно разучился трудиться, и каждый мужик ныне – казак. А каждый казак мнит себя шляхтичем. В этом всеобщем самообмане и заключена сила Хмельницкого. Думаю, вашей милости не надо объяснять, сколь неверна подобная сила. Я убежден: падение и гибель героя произойдут в ближайшем будущем.

– Наметился ли раскол в казацкой старшине?

– Раскол этот был всегда, но противников объединяла борьба против шляхты и католичества. Некий полковник Данила Нечай, стоящий во главе быдла, имеет теперь не меньшую славу и силу, чем сам Хмельницкий.

– Есть ли еще ахиллесова пята у гетмана? – спросил Адам Кисель.

– Уязвима сама семья Хмельницкого, – сказал архимандрит Тризна. – До нас дошли слухи, что старший сын гетмана болезненно воспринял женитьбу отца на Чаплинской.

– А каковы взгляды Хмельницкого на возможный союз с Москвой?

– Это самый главный вопрос и самый тревожный, – сказал митрополит Косов. – Иерусалимский проходимец, этот ничтожный Паисий, не уважаемый у себя на родине, отправляясь выпрашивать подачку у московского царя, чтобы придать себе веса, всячески подталкивал гетмана к скорейшему союзу с русскими.

– Мне известно, что Хмельницкий и до встречи с Паисием искал опоры у московского царя, – сказал Адам Кисель. – Искал без всякого успеха.

– Царь Алексей очень молод, – ответил Косов, тщательно обдумывая слова. – Его советником до последнего времени был один боярин, человек светский. Ныне этот боярин от власти устранен. И как я слышал, царь окружил себя теперь людьми духовного звания. Присоединение Киевской митрополии к Московскому патриаршему престолу – давняя мечта московских святителей.

– Да, это серьезно, – сказал Адам Кисель, – но Москва никогда и ни в чем не торопится, а нам нельзя терять времени.

– Вашей милости надо найти путь к сердцу Выговского, – предложил архимандрит Тризна. – Отец Выговского живет в нашем монастыре, и нам известны устремления этой семьи. С одной стороны, Выговские возвысились и они не захотят потерять награбленного, но, с другой стороны, они шляхтичи, и для них несносно московское самодержавие.

– Велика ли зависимость Хмельницкого от крымского хана? – спросил Адам Кисель.

– Видимо, велика. Бремя этого союза тяжело и не вполне приемлемо для казаков и народа. Это одна из причин, толкающая гетмана в медвежьи объятия Москвы.

– Я думаю, что с вашей помощью мне удастся склонить Хмельницкого к переговорам о мире. И не кажется ли вам, что эти переговоры должны состояться в Киеве?

Митрополит и архимандрит посмотрели друг на друга и согласились с сенатором.

– Мы сообщим вашей милости о месте и времени новой встречи, – сказал митрополит, прощаясь.

«Каждый печется о своей выгоде, – горестно размышлял Адам Кисель, оставшись один. – Киевские иерархи боятся за свою власть и за свои доходы».

8

Князь Захария Четвертинский только через три недели привез из канцелярии Хмельницкого приглашение в Киев. Посольство перебралось в местечко Зайцево, и отсюда Адам Кисель направил своего брата Николая и пана Смяровского в ставку гетмана с наказом убедить гетмана приехать в Киев для переговоров о мире.

Сам Адам Кисель еще раз тайно встретился с митрополитом, архимандритом и католическим ксендзом и принялся раскидывать сеть, в которую ловились бы важные новости о жизни в казачьих полках.

Однажды вместе с паном Мясковским, имея возницу и всего одного казака, который следовал за санями сенатора с посольским знаменем, Адам Кисель поехал в местечко Лесники.

Дорога шла через Годоновку, имение князя Корецкого. Здесь-то и остановили пана воеводу.

Мужики выскочили на дорогу, схватили лошадей под уздцы и, весело гомоня, стали наперебой кричать что-то несурзное: мол, живу не отпустят, если паны не откупятся, что ныне Масленица, а вино дорого, без вина же какая Масленица?!

– Что вы хотите? – вскричал пан Мясковский. – Вы не имеете права нас задерживать! Мы королевские послы и гости гетмана.

– Денег они хотят, – спокойно сказал Адам Кисель и полез за кошельком.

– Что вы делаете? – сделал страшные глаза пан Мясковский. – Они же отнимут.

Адам Кисель высыпал на ладонь несколько талеров и, глядя на мужика, который показался ему заводилой, спросил:

– Сколько берете за голову?

– Да-к?! – Мужик поглядел на своих. – По сколько?

– За панские по полсотни! – уверенно сказали мужики.

– А казака?

– Казака за десять талеров отпустим.

– Побойтесь Бога! – вскричал Адам Кисель. – По полсотни? По двадцати будет хорошо.
– Выходит, пан воевода, ты себя оценил дешевле заморенной кобылы! – захохотал мужик и протянул лапу под панский нос. – Давай, сколько просим.

Адам Кисель отсчитал сотню талеров.

– Казак пусть в придачу идет.

– Не обижайте своего человека! – насутился мужичий атаман. – За себя по полсотни не жалеете добрым людям подарить! Что же, казак для вас пустое место? Оттого и побили мы вас и еще бить будем, что вам на простого человека начхать.

Адам Кисель отсчитал за казака десять талеров.

– А что же за возницу не просите? – спросил с вызовом.

– А потому не просим, – сказал заводила, – что он нашей кости человек. Подневольный. Забитый. Вот одумается, как мы, даст тебе промеж глаз, тогда и узнаешь, какова ему цена!

Атаман махнул рукой своим, и мужики тотчас расступились, освобождая дорогу.

– Боже мой! Боже мой! – воскликнул Адам Кисель. – Что случилось с нашим ласковым, с нашим сердобольным народом?

– Этих людей может образумить не мир, – сказал пан Мясковский, – но одна только смерть.

– Вы говорите несуразное! – От гнева Адам Кисель стал белым как снег. – Наша страна на грани самоистребления. Я, милостивый пан, не убежден, что Хмельницкий станет вести с нами переговоры. Он понимает: мы все – одна большая рыба, которая задохнулась подо льдом и готова сама залезть в сеть, лишь бы воздуха перехватить.

Пан Мясковский сердито шевельнул усами, но возразить не посмел.

– Я знаю, о чем вы думаете. – Две горестные складки прорезали высокий лоб воеводы. – Мол, Кисель двум богам молится. Своих по крови жалеет. И все это правда. Я больше жизни люблю Речь Посполитую, но я против истребления моего, родного мне по крови, народа. Истребить народ все равно невозможно. Да и чего она стоит, земля, без работника на ней? Мир надо искать, пан Мясковский, хоть на небе, хоть под землей.

9

Место переговоров иногда значит больше самих переговоров. Хмельницкий разговаривать с поляками в Киеве не пожелал.

Птицы замерзали на лету, от печи бы не отходить, а посольству пришлось погрузиться в сани и ехать, куда велено было, – в Переяслав.

С музыкой, под красной хоругвью и бунчуком, с полковниками и есаулами выехал Богдан Хмельницкий в поле на полверсты от города встречать королевского посла. Поздоровался, сел в сани к Адаму Киселю по левую от него сторону.

При въезде в город грянул салют из двадцати пушек, и Хмельницкий покосился на пана сенатора: доволен ли приемом?

– Ваша милость, прошу вас на обед ко мне! – пригласил гетман. – Как разместитесь, так тотчас и за стол. Обозный пан Чернята укажет вам квартиры, он ради встречи вашей милости прибыл нынче утром из Чигирина.

И сразу стало ясно – казаки к встрече готовились. Всех посольских людей поместили в разных домах, далеко друг от друга, и к домам приставили стражу, чтоб кто не обидел высокородных гостей.

Возле длинного стола по обеим сторонам поставлены были дубовые лавки. Казаки сели по одну сторону, гостей посадили по другую. Кубки все были серебряные, а еду носили в глиняных горшках. Потчевали пшенной кашей, свининой и жареными гусями.

Первый тост выпили за здоровье короля, второй – за его милость Адама Киселя, третий – во славу Войска Запорожского.

Вино заиграло в казачьей крови, и полковник Джалалия крикнул свой тост:

– А нехай на нынешнем морозе попередохнут, как тараканы, и пан Чаплинский, кость ему в горло, и пан коронный хорунжий, кость ему в задницу, и князь Иеремия – кость ему во все места! А с ними – все ляхи!

– Я понимаю горячность полковника! – сказал Адам Кисель спокойно. – Паны Чаплинский, Конецпольский и князь Иеремия Вишневецкий доставили много бед простому украинскому народу и казакам, но ведь и в Польше есть немало людей, пострадавших от свирепости пана Кривоноса. Злоба мира не устроит, злоба разрушит последние крохи его.

– Ишь как запели! – захохотал Джалалия. – Видать, крепко хвост между дверьми прищемили. Не отворяй двери, Богдан!

– Что правда, то правда, – сказал Хмельницкий, – покуда нам не выдадут обидчиков наших и мучителей – пана Чаплинского да князя Вишневецкого, – переговорам не бывать. А выпьем-ка теперь здоровье пана Смяровского, его хлопотами мир под Замостьем устроился.

– Прежде следует поднять тост за доблестного воина, мудрого гетмана Богдана, – возразил пан Смяровский.

– Коли я доблестен да еще мудрен, – сказал Хмельницкий, нарочито хмурия брови, – то и не перечь мне. За тебя, пан Смяровский!

Сразу после обеда Адам Кисель собрал своих комиссаров.

– Положение нашего посольства более чем затруднительное, – сказал он прямо, – оно просто опасное. У нас есть только одно средство расположить в нашу пользу его милость гетмана. Надо вручить ему пожалованные королем знаки гетманской власти, не дожидаясь окончания переговоров.

– Но это единственный наш козырь! – возразил пан Смяровский. – Вручив Хмельницкому булаву, мы таким образом признаем законными его дикие прежние распоряжения.

– Другого выхода я не вижу. Гетман будет требовать выдачи ненавистных казакам Вишневецкого и Чаплинского, и мы вынуждены будем вручить знаки королевской милости в условиях, когда переговоры зайдут в безысходный тупик.

10

На Шевской улице, где стоял дом Хмельницкого, били барабаны, играли трубы, созывая народ и казаков.

Хмельницкий, окруженный полковниками и старшинами, стоял под бунчуком в парчовой красной шубе на соболях.

Рядом с Хмельницким заняли места два посла, московский и венгерский.

Адам Кисель шел впереди своих комиссаров. Перед ним несли булаву и знамя.

Он держал себя, как подобает держаться послу великого государства. Всем видом своим, каждым жестом и шагом показывал толпе и ее предводителям, что он явился сюда осчастливить королевскими милостями все это безымянное скопище, достойное скорее наказания, чем наград. Замкнутый, недоступный, Адам Кисель хотел бы казаться небесным судьей.

Подойдя к казацкой старшине, он стал перед Хмельницким и, чеканя слова так, что они звенели в морозном воздухе, принялся изрекать королевскую милость гетману и Войску Запорожскому.

– Его милость Ян Казимир – король Польши...

– Хе! Петухом распелся! – крикнул на всю площадь полковник Джалалия. – Король как король! Но вы, королевята, князья всякие, пакостите много. Ой, сколько вы понатворили всего!

А ты-то что промеж них делаешь, Кисель? Ты же кость от кости нашей! О тебе говорят, что ты умный. А где же он, ум твой, если ты с ляхами связался?

Джалалия оглянулся на товарищей своих, но все смотрели на Хмельницкого, а тот стоял, чуть склонив голову, пережидая выходку своего полковника, чтобы слушать далее королевскую волю.

– Ой ты господи! – гаркнул Джалалия и пошел прочь от Богданова дома.

Адам Кисель закончил речь, но звонкость из его голоса улетучилась.

Он передал Хмельницкому письмо короля, которое тотчас было прочитано Иваном Выговским, потом верительную комиссарскую грамоту, ее тоже зачитали. И наконец пан воевода бережно взял в руки осыпанную бирюзой гетманскую булаву и вручил ее Хмельницкому.

Богдан ковырнул ногтем голубой камешек, который, как ему показалось, ненадежно сидит в гнезде, и тотчас не глядя, как полено сунул булаву своим старшинам.

Хорунжий новогрудский, его милость пан Николай Кисель, вышел перед гетманом с красной королевской хоругвью. Он развернул ее, чтобы все видели белого орла и золотом шитую надпись «Иоаннес Казимирус Рекс».

Гетман на колени не встал, знамени не поцеловал. Ухватил рукою древко и повернулся к своим – кому отдать – и отдал обозному Черняте, а тот, поморщась, передал знамя сотнику Богуну.

– От всего Войска Запорожского и от себя благодарю его королевскую милость за сии высокие клейноды и благодарю от всего Войска и от себя вашу милость, пан воевода, за ваши многие хлопоты о нас, недостойных, – сказал гетман.

Помолчав, улыбнулся:

– Зову всех в дом мой отпраздновать столь великие милости его королевского величества.

11

Московский посол стоял перед самым алтарем на почетном месте. Адам Кисель послал для встречи с ним несколько комиссаров и пана Смяровского, человека, умеющего добывать тайны.

Московский посол учтиво и ласково поздоровался с польскими коллегами, но никаких разговоров вести не пришлось. Вокруг москаля стояла казачья старшина. Откуда ни возьмись, объявилась в церкви толпа казаков, ретивых в молитве. Они, крестясь и подпевая певчим, заняли все места перед алтарем, оттеснив польских комиссаров к левому клиросу. Стало в церкви душно, и пан Смяровский сделал своим знак – уходить.

В толкотне, созданной умышленно, казачьи соглядатаи, однако, потеряли поляков из виду, и они, по двое, по трое, разбрелись по городу. Пан Смяровский с паном Мясковским успели заглянуть в костел.

Животный страх напал на них в этом разоренном каменном мешке. Пол загажен человеческим пометом – ступить некуда. Алтари разбиты. Надгробия над склепами изуродованы и сдвинуты с места.

Костяки валялись по всему храму. Гробница великого рыцаря Луки Жолкевского, брацлавского воеводы и переяславского старосты, была развалена на куски. Останки рыцаря валялись где-то здесь, среди прочих костяков.

– Хороший доспех у него был!

Паны вздрогнули: у входа, прислонясь спиной к косяку, стоял и улыбался казак.

– Зачем мертвому доспех? – сказал он серьезно. – Доспех нужен живому, чтоб от смерти уберегал, верно, что ли?

Казак достал пистолет, и пан Смяровский поспешил кивнуть головой, соглашаясь.

– То-то и оно! – Казак выстрелил, и пуля, шелкнув ангела по носу, с визгом отскочила. Паны комиссары, леденея под игривым взглядом казака, который снова принялся заряжать пистолет, вышли из костела.

– Варвары! – сказал пан Мясковский.

– Тише! – испуганно передернул бровями пан Смяровский.

– Надо заявить протест гетману.

– Посмотрю, как вы это сделаете. – Смяровский вытер платком бисер на лбу. – Не поверил бы, когда бы мне сказали, что на таком морозе можно вспотеть.

12

Сон не шел.

Разбой! Всюду в мире разбой. Разбойники правят миром.

Адам Кисель говорил это себе, а думал не о Хмельницком. И о нем тоже, но главное – о Потоцких, Калиновских, Жолкевских, Конецпольских... Все эти великие люди в конечном-то счете были разбойниками. Сколько людей они убили! Верно, у них было право судить и миловать, но право-то это они присвоили. И убивали они тех, кто им мешал наслаждаться жизнью, в том числе мешал убивать невинных. Оттого и выброшен из гробницы пан Лука Жолкевский... У короля своя свора убийц, у каждого магната – своя. Вот и вокруг Хмельницкого собрались смекалистые люди, которые сотворят из гетмана кумира, а себе добудут сначала земли и города, а потом и о титулах позаботятся.

Адам Кисель знал цену позолоте, но сам-то он был слабый человек и гордился чинами, которые ныне сыпались на него: киевский каштелян, брацлавский воевода; король намекнул, что за удачу в переговорах будет пожалование в воеводы киевские.

Не смешно ли гордиться титулом, за которым – пустота... Брацлав – у казаков, Киев – у казаков. И однако он, стараясь сломить упрямство Хмеля, помнил о возможной награде. Значит, не верил в долговечность гетмана. Не верил, но умом-то своим умным знал: Украина потеряна навсегда.

Ворочая в мозгу тяжкие эти мысли, Адам Кисель забылся нехорошим, тесным, как гробница, сном.

Проснулся измученный. В комнате стояла тьма, и в теле была тьма. Подагра скручивала ноги такой болью, что оставалось завывать, и выть не умолкая, покуда не оставит боль.

– Мерзкое питье! Мерзкая еда! Мерзкие рожи! – сказал он вслух, потому что ему казалось, приступ болезни не от излишеств прежней молодой жизни, а от многих лишений и мытарств нынешнего, самого бездарного из его посольств.

Стена. Глухая стена стояла перед ним. Он говорил многие свои слова – умные, блестящие, верные – стене, у которой нет сердца, крови и даже ушей.

Адам Кисель поднялся на локтях, передвинулся к высокой спинке кровати, пошарил рукой по столу и нашел деревяшку, которую резал все эти дни. Он резал слона.

– Потому слона, что он в ярости топчет все без разбора, – объяснил себе Адам Кисель.

Он взял нож и тотчас выпустил его из рук – прострелило. Боль постепенно утихла, но Адам Кисель уже не хотел отвлекать себя от раздумий.

«Болезнь моя скоро убьет меня, – думал он спокойно. – Но, пока я жив, я должен найти спасительное средство для лечения болезни, поразившей мое государство... Если только болезнь эта... не смертельна».

Он лежал, затаившись от своей собственной боли, которая задремала. Перед его глазами вставали картины вручения гетманских клейнодов... То, что полковники грубы – не самое страшное. Самым страшным была толпа на переяславских улицах. Каждый мужчина в той великой толпе, каждый подросток был вооружен, а ненависть исходила не только от мужчин, но и от

женщин. Ненависть мужчины по своей природе одинока, ненависть женщины – обязательно даст потомство.

«Значит, правы те, которые вслед за Иеремией Вишневецким желают истребления взбунтовавшихся холопов, ибо убеждены, что холоп, познавший страх господина, – никогда уже не образумится?

“Убить страну!” Эта сумасшедшая мысль приходит на ум людям, которые почитают себя христианами? – Адам Кисель покачал головой, и тотчас боль проснулась и принялась точить его плоть, как древесный червь точит бревно. – Но ведь и казаки не прочь перебить всех ляхов! Они этого желания не стыдятся и не скрывают... Позвать надо слугу, чтобы принять лекарство, – решил Адам Кисель, глядя на темные окна. – Когда же утро?»

Он все-таки позвонил.

Долго не было никакого ответа, и тогда он позвонил громко и властно. Опять была томительная тишина. Наконец раздались шаги. Вошел дежуривший по дому капитан Бришевский.

– А где слуга? – удивился появлению капитана Адам Кисель.

– Ваша милость, ваш слуга... – Капитан покашлял, весьма чему-то смущаясь.

– Так где же он?

– Сбежал! – шелкнул шпорами капитан.

– Сбежал? – поднял брови Адам Кисель.

– Почти вся прислуга сбежала, – доложил капитан.

– Куда же они сбежали?

Пан Бришевский пожал плечами.

– Вот это новость!

– И еще... – Капитан вдруг решил, что, пожалуй, хватит одной новости, и замолчал.

– Что «еще»?

– Литвин Ярмолович к ним... перешел.

– Ярмолович?! – Адам Кисель опустил ноги с постели. – Одеваться!

Посмотрел на капитана, который вспыхнул, но сделал движение в сторону одежды посла.

– Простите, капитан!

Адам Кисель встал, взял одежду, оделся по-солдатски быстро.

– Соберите, капитан, людей! – И тотчас слабо махнул ему рукой: – Стойте! Это же обыкновенный страх погнал их прочь из нашего дома.

– Нет, ваша милость! – твердо сказал капитан. – Они все ушли к своим.

И посмотрел на пана сенатора открыто, не скрывая вражды.

– Да, я тоже русский. – Адам Кисель выдержал взгляд. – И князь Вишневецкий русский. Многим в Польше надобно от нас, русских, находящихся на службе короля и Речи Посполитой, чтоб мы доказали свою преданность через пролитие крови своих единоверцев, но это страшная ошибка. Здесь Родина моя, и мне никому не надобно доказывать, что я действую в интересах моей Родины. Пролитие крови ничего не изменит и уж никак не поправит дела. Поправить дело может одно терпение, тяжкое терпение. Нам всем суждено преодолеть в себе отвращение, ненависть, недоверие, но это единственный путь к спасению нашей Родины. Если Войско Польское этой истины не усвоит, капитан, Польша погибнет.

– Никогда! – вскричал пан Бришевский.

– Хотел бы я вот так же бездумно кричать то, во что счастлив верить. Но я, капитан, последним ушел из-под Пилявец. И я заслужил право говорить моей республике правду, всю правду о ней. Мне грозили, меня подвергали ostracizmu, но кому-то надо нести этот, может быть, самый тяжкий крест – говорить правду. Ибо иногда достаточно и лжи, чтобы государство держалось на плаву, но, когда оно тонет, когда оно уже на дне, тянуть его надо за волосы. Больно и нехорошо, но это единственный способ спасения утопающего.

«Как он много говорит, этот надутый сенаторишка. – Капитан, не слушая, смотрел Киселю в переносицу. – Он и с Хмелем так же говорит. И тот его слушает вполуха. А надо бы привести тысяч сорок крылатой конницы и обойтись без слов».

Адам Кисель посмотрел на окно:

– Как только рассветет, соберите всех комиссаров.

13

Комиссарский совет послал к Хмельницкому новогрудского хорунжего Николая Киселя и ротмистра Захарию Четвертинского просить гетмана, чтобы он назвал точную дату встречи, на которой можно было бы подписать договор.

Не только раннее, но и позднее утро давно миновало, а гетман спал. Так доложили посланцам, и они, смиряя шляхетскую гордыню, ждали.

– Да ведь невозможно такое, чтоб государственный человек спал до обеда! – вспылил молодой Четвертинский, но вышедший к ним полковник Федор Вешняк объяснил:

– Отчего же невозможно? Коронный гетман, которого мы татарам продали, всю ночь, бывало, гулял, а весь день почивал. Наш гетман вашего не хуже! Наш гетман всю ночь с ворожеями гулял. Они ему победу в нынешней войне прочат. Вот и спится сладко.

– О какой войне идет речь?

– О той, которую недобитая шляхта затевает.

Вешняк ушел, и князь Четвертинский подступился к пану Киселю:

– Довольно терпеть измывательство!

– И в бою терпеть надобно. А в посольстве напоминать о том – неприлично.

Хмельницкий и впрямь был у Маруши. Маруша гадала ему тремя способами: в первый раз на картах, второй раз на гуще, в третий раз на решете. Завязывала себе глаза, ставила решето Богдану на палец и крутила. А крутнув, называла всякие имена. И остановилось решето на имени Зиновий, и, стало быть, Зиновию выпадало счастье победить в грядущей войне.

Правду говорил полковник Вешняк полякам, да только не всю.

Нет, не спал гетман.

Когда Захарию Четвертинского и Николая Киселя допустили наконец пред гетмановы очи, он сидел за столом. Не один сидел, с полковниками и с венгерским послом.

– Нас отправил к вашей милости, пан гетман, его милость пан воевода брацлавский за ответом: когда ваша милость соизволит принять его милость пана воеводу для обсуждения статей и подписания договора? – спросил Николай Кисель.

Дожевывая, гетман облизнул мокрые губы, потянулся за приглянувшимся ему куском жареного осетра и сказал, как говорил бы о ничего не значащем пустяке:

– Завтра будет справа и расправа. Теперь – гуляю, провожаем дорогого нам гостя, венгерского посла. А ежели коротко, то так скажу: из этой комиссии ничего не будет. Теперь надо ждать войны, быть ей недели через три, через четыре. Выворочу вас всех, ляхов, ногами в гору и потопчу так, что будете под ногами моими. А кто из вас уцелеет, отдам турецкому султану в неволю. Вот тогда король королем будет, чтоб карал и миловал шляхту и князей. Чтоб волен был себе. Согрешил князь – князю урезать шею, согрешил казак – не тем то же учинить. Пусть правду знает и большой человек, и малый. Ну, а не захочет если король королем быть – то ему видней. Идите и скажите все это пану воеводе и его комиссарам. Завтра, говорю, будет справа и расправа.

Адам Кисель выслушал ответ гетмана, не мрачняя и даже с нетерпением. Он словно бы и сам знал, что должен был сказать Хмельницкий.

– Пан Соболев, – обратился он к личному своему писарю, – запишите, кому и что нужно сделать без промедления. Пан подचाший Зелинский, пан подкормий Мясковский и пан секре-

тарь Смяровский с подарками идут к обозному Черняте. Вы должны уговорить этого тирана, чтобы он поспособствовал отпуску пленных. С пленными, которых свезли в Переяслав для какой-то цели, попытается установить связь капитан Бришевский. Обязательно надо проникнуть к ближним людям Хмельницкого и к московскому послу. Мы совершенно ничего не знаем о его миссии, а мы должны знать о ней все.

14

Из окна пан Кисель наблюдал пышные и радостные проводы московского посла.

Сидел Адам Кисель, положив на колени деревяшечку, грустный, обиженный, как ребенок. Открыл дверцу топящейся печи и бросил в нее уже совершенно готового слона.

– Сама жизнь спалит его, – сказал он, думая о Хмельницком. – Но как скоро? Сколько еще бед случится по его произволу?

В комнату вошел пан Смяровский:

– Гетман прислал человека, нас ждут на заседание.

– Как скоро у них! Одного посла выпроводили, собираются и нас спровадить. Но с чем?

О московском посольстве в канцелярии гетмана им сказали: царь жалеет о вражде гетмана с Речью Посполитой и советует не проливать больше христианской крови.

Уличные слухи были иные: казаки промеж себя говорили, что царь обещал прислать сорок тысяч войска, если Хмельницкий воюет за веру.

Ни слухам, ни канцелярским словам верить было нельзя.

– С чем нас-то выпроводят? – снова спросил Адам Кисель, уже не себя самого, а глядя пану Смяровскому в глаза.

Тот повел плечами:

– Это же казаки. У них семь пятниц на неделе, – и смущенно покашлял в кулак. – Пан воевода, вашей милости собирается сообщить нечто важное капитану Бришевскому.

Капитан тотчас вошел в комнату.

– Ваша милость! Личный секретарь вашей милости пан Соболев перешел нынче в стан неприятеля.

– И этот предал.

Заторопился одеваться и уже в шубе, окинув взглядом комиссаров, сказал сокрушенно и беспомощно:

– Он же на всех тайных заседаниях наших был.

Гетман встретил Адама Киселя на дворе. Обнял, повел в дом, поддерживая за руку, изумляя обходительностью комиссаров и сбив с толку пана воеводу.

Когда сели за столы, гетман почтительно предложил польской стороне высказаться первыми. Слушал с полным пониманием, и Адам Кисель, будучи в ударе, говорил с таким проникновением, что разжалобил самого себя и заплакал. Он говорил:

– На прошлой встрече наши комиссары, застигнутые черной тучей гнева, правых обид и обид суетных, были изничтожены молнией – коей были слова вашей милости о неременном желании отдать Польшу под власть басурман-турок. Видимо, сказано это было в минуту для нас недобрую, но иные поступки вашей милости еще более сокрушают наши сердца. Кому не ведомо, что Польша и Литва не могут противостоять неверным без Запорожья, однако и Запорожье не защитит себя от неверных без польского войска? Ныне между казаками и ханом союз, да так ли уж он прочен? Хан коварен. Разве мы не знаем, как он относится к своим союзникам? Мала добыча в Польше, так у вас же и берет, ваших жен и детей. Если вашей милости нанесена обида, если один Чаплинский виноват, то с нашей стороны готово удовлетворение. Если Запорожское Войско обижено в своем числе и землях, то король, его милость, обещает увеличить и то и другое. Мы привезли грамоту короля, в которую можем вписать увеличение

реестра до двенадцати и даже до пятнадцати тысяч. С таким войском гетман может тотчас отправиться на неверных, ограждая от набегов и разора дома христиан. Но увы нам всем, если казачья старшина и гетман хотят отдать не только Польскую и Литовскую землю, но и русскую веру, святые церкви в руки неверных без всякой причины.

Голос Адама Киселя осекся, слезы потекли из его глаз, а Хмельницкий вскочил на ноги и бешено, словно взъярившийся конь копытом, затопал ногой, ударяя с каждым разом все сильнее и сильнее. И когда он грохнул так, что, казалось, потолок присел и все ожидали рева дикого зверя, вдруг замер лицом и сказал тихим, ровным голосом, заставляя поляков потянуться к нему, чтобы не проронить важных слов:

– Шкода от меня большая, говорите? Много было у вас времени трактаты со мной вести. Потоцкий для трактатов меня гонял за Днепр. Были игрища желтоводские и корсунские, были пункты под Константиновой, а на остаток Замостье. Да и когда от Замостья до Киева шел, было время разговоры разговаривать. Теперь уже и часа нет. Я уже доказал то, о чем никогда и в мыслях у меня не было, докажу и далее, что замыслил: выбью из ляхской неволи весь мой народ. Было дело, за обиду свою против кривды вашей воевал, теперь воевать буду за веру нашу православную. В том поможет мне вся чернь по Люблин и Краков. От черни я не отступлюсь, она правая рука наша – все те люди, которые, холопства не вытерпев, ушли в казаки. Будет у меня двести, триста тысяч своих и вся орда. Тугай-бей есть мне брат, моя душа, единый сокол на свете. Он готов сделать все, что скажу ему. Вечна наша казацкая с ним приязнь, и нет на свете такой силы, которая разорвала бы наши узы. За границу на войну не пойду! Сабли на турок и татар не обнажу! Довольно нам на Украине было Подолии и Волыни, а теперь не довольно будет, когда прибавлю к своему княжеству земли по Львов, Холм, Галич. До Вислы дойду! А ставши на Висле, скажу ляхам: сидите молчите! А коли будут взбрыкивать, достану их и за Вислой, в убежищах. У себя же князей и шляхтичей, жадных до грабежа, не потерпим. А те, кто захотят хлеб с нами есть, нехай Войску Запорожскому будут послушны, на короля не брыкают.

Сказал, оглядел комиссаров, каждому в глаза посмотрел, пряча в усах усмешку, медленно опустился на стул.

Полковник Джалалия, откинув голову, гоготнул и, скаля белые, как у молодого волка, зубы, сказал сидя целую речь:

– Прошли те времена, когда ляхи седлали нас нашими же христианскими людьми, когда мы боялись драгун. Теперь узнали мы под Пилявцами, что это не те ляхи, которые прежде били турок, Москву, немцев, татар. Это не жолкевские, не ходкевичи, не конецпольские, не хмелецкие, но хорьковые да заячьи ребята, одетые в железо. Как увидели нас, умерли со страху и разбежались.

Хмельницкий резко вскочил, махнул на Адама Киселя рукой:

– Святой патриарх в Киеве благословил меня на войну, венчал меня с моей женой, решил меня от грехов и причащал, хотя я не исповедался. Патриарх приказал мне истребить ляхов. Как же мне не повиноваться великому владыке! Поэтому я послал ко всем полкам приказ, чтоб кормили лошадей и были готовы к походу, без возов, без пушек. Все это я найду у ляхов. А если кто-либо из казаков возьмет с собою на войну хоть одну повозку, тому велю голову отрезать. Я сам, кроме сумки, ничего с собой не возьму.

Адам Кисель, неподвижный и бледный, порозовел и стал смотреть не мимо гетмана, а все на него, с сочувствием. Выговорится человек – смотришь, полегче разговор пойдет. И стоило гетману примолкнуть, пан воевода поднял разговор о пленных, особенно о воеводе города Бара Павле Потоцком и о бывшем гарнизоне крепости Кодак. В силу прежних договоров и присяги гетман должен был пленным отпустить.

– Это вещь завоеванная, пусть король не думает, – торопливо ответил Хмельницкий. – Бог мне это дал. Пушу их, ежели ни одной зацепки на войне с Литвой мне от ляхов не будет. А

Потоцкий нехай брата своего подождет, старосту каменецкого, который проливает ныне кровь христианскую в моей Подолии. Я послал туда полки и приказал привести его живым.

– Это верно. Многие магнаты ожесточились и проливают кровь, но мы сами были свидетелями, как ныне льется кровь невинных женщин, детей, ксендзов в Киеве. Полковник Нечай ляхов и под землей разыскивает.

– Не приказывал я убивать невинных, – сказал сердито Хмельницкий. – Убивают тех, которые не хотят пристать к нам или креститься в нашу веру. Киев – мой город. Бог мне дал его при помощи моей сабли. Более об этом бесполезно говорить.

И тут слышались крики и ропот большой толпы. Сотник Богун пошел узнать, в чем дело, но уже ясно слышались голоса:

– В прорубь ляхов!

Адам Кисель пристально посмотрел в лицо Хмельницкому: подстроена ли буря или она и для него неожиданность.

Хмельницкий сидел усталый, побледневший и словно бы безучастный ко всему. Адам Кисель ничего не понял.

– Джалалия, – попросил Хмельницкий, – выйди к людям. Скажи, что гетман стоит за них горой. Скажи также, что расправа над послами богонаказуема. Пусть разойдутся. Им же хуже будет, если я рассержусь. – И обратился к Адаму Киселю: – Давайте статьи вашего договора.

– Мы должны обсудить все пункты.

– Времени нет! – прикрикнул гетман. – Слышите? По ваши головы пришел народ.

Взял статьи, пробежал по ним глазами.

– Дай! – протянул руку к Ивану Выговскому, тот не понял, что от него хотят. – Перо!

Выговский торопливо обмакнул перо в чернила. Хмельницкий сделал вид, что приноравливается, где ему и как расписаться, поднял глаза на Адама Киселя, покачал головой и крест-накрест перечеркнул листы.

– Никакого акта подписывать не стану, – сказал гетман.

– Тогда мы требуем, чтобы нас немедленнопустили! – крикнул пан Мясковский.

– С Богом! – Хмельницкий размахнул руки, показывая, что дверь для них всегда открыта. – Поезжайте завтра поутру, отвезите его милости королю письмо о немедленном возобновлении войны.

– Я сед и стар, чтобы возить королю такие письма! – воскликнул Адам Кисель. – Моему посольству и всему роду моему будет вечный позор за переговоры, приведшие к войне. Без подписания договора о перемирии я не уеду отсюда, ваша милость.

Хмельницкий поднял руку, требуя тишины, и опять стало слышно, как шумит толпа, требуя расправы над послами.

– Держать мне вас в Переяславе – только беды нажить, – сказал Хмельницкий, – убьют, ни на что не поглядят, ни на грамоты комиссарские, ни на седины... Не хочу я подписывать никаких договоров о мире или об одной только видимости замирения, но, ради дружбы и уважения к пану воеводе, так и быть, подмахну пяток статей, составленных и нацарапанных нашим братом – невежественными казацкими писарями.

Представлены были эти статьи тотчас. Первая требовала, чтобы в Киевском воеводстве не было унии, даже чтобы самого названия не было. Вторая тоже касалась религии: Киевскому митрополиту следует предоставить место в сенате. Киевские воевода и каштелян должны быть греческой религии. В третьей статье брались под защиту ксендзы римско-католических костелов, но не допускались иезуиты – виновники смуты. Четвертая объявляла князя Вишневецкого виновником войны. «Я не хочу с ним жить и не пушу его на Украину, – заявил Хмельницкий, – он ни в коем случае не должен иметь булаву коронного гетмана». Пятая статья объясняла, что составление реестра и саму работу комиссии следует отложить до Троицы, потому что теперь невозможно собрать войско для решения столь важного вопроса. Во время комис-

сии Чаплинский должен быть обязательно выдан, а коронные и литовские войска не должны вступать в киевское воеводство – по рекам Горынь и Припять. Пленные будут переданы полякам не прежде, чем будет выдан Чаплинский.

Пан Смяровский затеял было дискуссию о свободном передвижении польских войск по реке Случь до Бара, Винницы, Брацлава и Каменца, но Хмельницкий предложенные польской стороной статьи опять-таки перечеркнул и сказал:

– Довольно, утомились в пустых разговорах. Поезжайте с одним письмом.

Пан воевода покорно согласился подписать перемирие на условиях Хмельницкого, ибо имел от короля инструкцию всеми силами, даже самыми неверными и малонадежными, удерживать Хмельницкого за Днепром.

15

Ночью в городе стреляли. Под утро, когда посольство уже приготовилось к отъезду, стало известно, что несколько драгун из пленных утоплено в реке.

Отправили к Хмельницкому уведомление об отъезде, он обещал приехать на проводы, но потом прислал сотника Богуна сказать: посол и комиссары сами должны явиться.

Адам Кисель совершенно разболелся. Его привезли в санях на просторный двор перед домом Хмельницкого. Каждое движение приносило пану воеводе страдание, и он испросил у Хмельницкого разрешения не покидать саней.

Гетман согласился, вышел во двор. К саням, в которых лежал Адам Кисель, подвели красавца-коня – подарок гетмана – и дали деньгами пятьсот злотых. Здесь же были вручены подписанные Хмельницким статьи о перемирии и два письма: к королю и к канцлеру Юрию Оссолинскому.

Во дворе, окруженные казаками, стояли пленники Хмельницкого. Среди них было много известных шляхтичей: Гроздицкий, Ловчинский, Стефан Чарнецкий, Потоцкий...

Гетман нашел последнего глазами и сказал Адаму Киселю:

– Этого я задержу у себя, чтобы устроить ему встречу с братом. Если пан Петр завладел Баром, то я прикажу пана Павла посадить на кол перед городом, а того на другой кол в самом городе, чтоб глядели друг на друга.

Комиссары дружно опустились перед Хмельницким на колени, умоляя отпустить пленных.

– О пленных мы уже говорили, и больше говорить о них не стоит! – сказал Хмельницкий.

– Если вы не хотите выкупа, отпустите нас, ваша милость, к татарам! – крикнул в отчаянье Стефан Чарнецкий.

У Адама Киселя навернулись на глаза слезы. Он отдал кошелек с деньгами, подаренными ему гетманом, пленным, и члены посольства тоже стали отдавать им деньги, какие только были при них.

Многие из пленников плакали, провожая свободных своих, счастливых соплеменников. Адам Кисель закрыл глаза, чтоб не видеть чужих страданий.

16

В Чигирине по случаю подписания договора о перемирии пани Елена решила устроить бал, чтоб не хуже, чем у Потоцкого.

Богдан на затею жены не обратил внимания и был весьма удивлен, когда под вечер к дому его стали подкатывать кареты, одна другой чудней, а из карет вываливались ряженные под польских магнатов полковники, есаулы, сотники с женами, с отпрысками.

Грянула мазурка, Данила Выговский тотчас пригласил пани Елену, и она, блистая красотой и драгоценностями, ринулась в мазурку, как бабочка в пламя.

Младший из Выговских – Христофор – ангажировал на танец жену старшего брата Елену Статкевич, Тетеря – жену Христофора Марину Ласку. Других пар не составилось, и сметливый Иван Выговский сам сбежал вверх к музыкантам и шепнул им:

– Немедля мазурку переведите на гопак!

Музыканты перестроились с полутакта, и старший из Выговских первым кинулся в пляску, откалывая презрительные коленца. Данила Нечай, гикнув, вдарил шапкой об пол и скакнул в круг. Он, видно, собирался переплясать генерального писаря, но тот и не подумал уступить.

Три пары, танцевавшие мазурку, стояли посреди залы, недоуменно взирая на плясунов.

Первой опомнилась Марина Ласка, она взяла Елену Хмельницкую под руку и, не глядя на нее, шепнула:

– Вы должны помочь мне бежать из этого стада свиней.

Елена, сама не зная почему, может, от обиды за прерванную мазурку, согласно кивнула головой.

А плясуны между тем жарили такую огненную присядку, что и ног было не видеть, как не видно спиц на колесах у лихого возницы.

– Иван! Иван! – кричали болельщики Выговского.

– Данила! – вопили казаки помоложе.

Их обоих подхватили под руки, усадили за стол, и началась обычная казацкая потеха, кто больше выпьет. Песни пошли. И вместо бала произошла еще одна великая попойка.

– Не знал я, что ты плясун! – сказал Богдан одобрительно своему генеральному писарю.

– Я и сам не знал! – признался Иван Выговский.

– Потому и люблю тебя! – Богдан обнял Ивана, проникновенно боднув его головой.

Стол уже был расхристан, заброшен обглоданными костями. Богдан поискал взглядом жену, не нашел, усмехнулся.

Захотелось на воздух.

На дворе стояла звездная ясная ночь.

Богдан набрал в пригоршню снега, потер лицо и шею.

Увидел казака, сбитого с ног вином, подошел к нему, растолкал.

– Пан гетман! – узнал казак, блаженно улыбаясь.

– Куйка!

– И ты меня узнал. Дай я тебя поцелую, пан гетман.

Казак потянулся к Хмельницкому, выпячивая для поцелуя губы.

– Почему пьян?

– Все пьяны.

– За себя отвечай!

Богдан повернулся: Лаврин Капуста с двумя джурами стояли за спиной гетмана, как ангелы-хранители.

– Саблю! – Вжикнув по воздуху поданной ему гибкой татарской саблей, пошел на казака: – Защищайся, сукин сын!

Куйка шарил пьяными руками по боку, но рукоятка сабли никак не находилась.

– Куйка! – закричал грозно гетман, замахиваясь саблей.

Смертельная опасность отрезвила казака: саблю сыскал, из ножен вытащил, загородился, но пьяная рука не удержала оружия. Сабля Хмельницкого, столкнувшись с казацкой, скользнула, оцарапав Куйке щеку.

– Ты что, гетман?! – Куйка заплакал пьяными горькими слезами.

– Отведите его домой, чтоб не замерз по дури, – приказал Богдан джурам.

Вернул саблю Капусте.

– Лаврин, чтоб завтра в Чигирине у меня ни одного пьяного не было. Погуляли, и довольно.

Придя на половину жены, Богдан с пьяной придирчивостью оглядел мебель, стены, словно увидал все это впервые.

– Что это?! – закричал на Елену, ухватившись рукою за атласную драпировку.

– Я тебя не понимаю, – испугалась Елена, она собиралась устроить мужу сцену и, слава Богу, – не успела.

– Что это – спрашиваю? – рванул материю, разодрал. – Чтоб завтра же всего этого не было. Мы – казаки! Заруби себе на носу: мы – казаки. – И очень спокойно, очень устало закончил: – Поэтому жить мы будем просто.

Утром явился к гетману Куйка.

– Смилуйся, гетман!

– Опохмелялся? – спросил Богдан мрачно.

– Ни капли в рот не брал! – перекрестился Куйка. – А если запах, так это со вчерашнего.

– Садись! – пригласил Богдан казака за стол. – Голова соображает?

– Да как сказать, – замялся Куйка, – соображает.

– Давай, казак, договор заключим, – предложил гетман.

– Это какой же?

– А чтоб не пить проклятого вина, не пить, покуда не добудем свободы Украине.

– А что? – обрадовался Куйка. – Я согласен. Только как с праздниками быть? На Светлое воскресенье не выпьешь – казаки за басурмана примут.

– По праздникам разрешается, – согласился Богдан. – У меня тоже есть оговорка. С послами приходится чашу пить, здоровье государей.

– Ну, это понятное дело! – в свою очередь проникся Куйка.

– По рукам, казак?

– По рукам, гетман! – но протянутую было руку убрал. – А как проверить, держишь ли ты слово?

– Не будем, казак, проверять друг друга. На то совесть есть.

Ударил по рукам.

17

Чигирин вовремя устыдился веселия своего – Украину мучили голодные корчи.

Голод сгонял людей с насиженных мест, но бегать от всеобщей напасти – все равно что в лесу заблудиться.

Степанида, заброшенная судьбою в Немиров, ушла из города с нищей братией. Нищие чувят голод, как чувят погибель корабля крысы.

Поначалу Степаниду вожаки-странники пригревали – ее пение давало кое-какой сбор, но вскоре стало ясно: бродить ватагой – только пуганых пугать. Нищие разбились по двое, а Степаниде пары не сыскалось, они шли втроем.

Однажды заночевать пришлось в стогу. В стогу и зимой тепло. Угрелась Степанида, заспалась, а когда пробудилась, то тотчас и поняла: попутчицы бежали, прихватив ее котомку.

Побираться Степанида не наловчилась, собирать милостыню в братстве были свои великие мастера, от нее требовалось молитвы распевать.

За трое суток она прошла два больших села и с полдюжины малых, стучалась в каждую хату, и ни разу ни единая дверь не отворилась для нее.

Степаниде даже в эти мучительные дни в голову не пришло, что еду можно украсть, но у нее хватало силы жалеть и оправдывать людей. Им ведь стыдно не отворять на стук умира-

ющего с голода человека. Только что же поделаться: одному дашь – надо и другому дать, а потом сам ложишься да и помирай.

Степанида помнила о первых трех днях полного голода, а потом и дни забыла считать.

Однажды ее все-таки впустили в хату, накормили кулешом, и она заснула. Заснула с ложкой в руке.

Проснулась на лавке, от голода.

Хозяйка хаты была молодая, сердобольная. Она снова накормила Степаниду, дала ей на дорогу пару сухарей да пару луковиц.

– Ты ступай шляхом, а на третьей версте свернешь на малую дорогу. Та дорога в имение. Там тебе работу дадут и еду.

Имение, куда послушно приплелась Степанида, принадлежало пану Хребтовичу. Приживалка князя Вишневецкого, он сумел откреститься от бывшего своего сюзерена и, что более важно, угодить пану Тетере, человеку из окружения Хмельницкого. Пана Хребтовича не трогали ни казаки, ни поляки, и он затаился в своем имении, переживая бурю. Впрочем, без дела не сидел...

Степаниду пустили на двор, не спрося, кто и откуда. Провели в длинный каменный флигель. В помещении этом, возле окон, стоял длинный, на козлах, сколоченный из плохо строганных досок стол, а возле стены – двухъярусные нары.

– Ты будешь спать здесь! – показал провожатый Степаниде место. – Обогрейся у печи, скоро обед. После обеда пойдешь на работу в мокрый сарай.

Провожатый ушел, а Степанида, не думая, куда она попала, что за работа ей предстоит, села на лавку у печи и задремала.

Проснулась от топота многих ног – это шли работники.

Одних война разоряет, другие на войне сколачивают состояние. Пан Хребтович норовил от войны попользоваться хоть малой прибылью. Его люди, как вороны, слетались на места кровавых столкновений и грабили трупы. Мокрый сарай был завален одеждой. Степаниде отныне надлежало отбирать из этой горы что побогаче и относить в прачечную. Выстиранная, выглаженная одежда поступала в мастерскую к искусным штопальщицам, которые маскировали следы пуль, сабель и прочего оружия. Работали у пана Хребтовича люди молчаливые, враждебные друг другу и всему белому свету. Слова сказать было некому. Кормил своих работников пан Хребтович, как свиней, – пойлом, отвратительным на вкус, но сытным. Голода Степанида не чувствовала, только и за человека она себя тоже перестала почитать.

Степанида терпела мокрый сарай неделю. Ушла воскресным днем, хотя у пана Хребтовича и по воскресеньям работали.

Не прошла она от имения и сотни шагов, как ее нагнал один из охраны пана Хребтовича.

– Ты куда направилась? – загородил он конем дорогу.

– В церковь, – схитрила Степанида. – Нынче воскресенье.

– Поворачивай! – приказал охранник, распуская нагайку.

Степанида поняла: живыми от пана Хребтовича работнички его не уходят. Притворяясь дурочкой, она захныкала и, ухватившись за стремя, стала спрашивать джуру, где же ей помолиться.

– В имении часовня есть, там и помолишься, – смилостивился джура и ускакал, видя, что Степанида возвращается охотно.

Она понимала: удачный побег можно устроить только сообщая, но люди, пригнанные к пану Хребтовичу голодом, о вольной жизни и подумать не смели. Воля – это голод, а весной и в хорошие-то годы не всякий день брюхо бывает сыто.

Степанида бежала из имения в ростепель, в дождь и, разумеется, ночью. Она сумела унести с кухни каравай хлеба и две пригоршни маленьких репок.

Была ли погоня, нет ли, она не знала. Чтобы чувствовать себя в безопасности, перешла реку. Лед на реке уже отошел от берегов, но она рискнула и спаслась. Дорога привела ее в местечко Красное.

Глава вторая

1

Тимошка затаил дыхание и выставил ухо, чтобы лучше разобрать шаги неотвязного преследователя, – ни звука. Как лезвием, чиркнул взглядом вдоль улицы – пусто.

Прижимаясь спиной к стене, Тимошка, словно улитка, втянул свое большое, слишком большое, видимое тело в улочку, узкую, как щель. Побежал! Тотчас загрохотали, догоняя, тяжелые шаги. «Уж лучше бы напал!» Тимошка, обессилев, втянулся в каменную нишу, позеленелую от плесени, нашел на поясе кинжал, вцепился в рукоять. Ладонь была мокрая от пота.

«Ударить – выскользнет», – подумал Тимошка о кинжале и отер ладонь о рукав. И сразу побежал. Преследователь тотчас сорвался с места, топая сапогами за спиной.

«Господи, прнеси!» – молился Тимошка. А этот... был, видно, сам дьявол. Он перешагивал дома, он кружил, когда Тимошка начинал кружить, но стоило оглянуться – отпрыгивал за стену и затаивался.

– Гондольер! – крикнул Тимошка, подбегая к каналу и размахивая последним своим талером. – Греби! Греби куда-нибудь!

Гондольер понял, что синьор торопится, и повел гондолу к площади Дворца дожей. Пассажиры скрючившись сидели на дне гондолы и вдруг поднял голову, поглядел кругом и... расхохотался. Хохотал, держась за живот, хлопал шапкой по коленям и наконец заикался. Сам от себя по всей Венеции бегал, дурень безмозглый. От страха чуть не помер. О Господи! О чужая сторонашка!

– Да кому я тут нужен! – сказал Тимошка вслух и, присмирив, изнемогая от усталости, засмотрелся на диво дивное, на город, росший, как кувшинки растут, – из воды.

У Тимошки не было мелкой монеты, но он расстался с последним талером без сожаления. Он, Тимошка, русский проходимец, был живехонек. Стоит посреди площади неопишущей красоты, какой русским людям не видать вовек, ни наяву, ни во сне, – ни боярину не видать, ни глупому мужику, а вот Тимошка, кость ярыжная, сподобился.

Он стоял перед Дворцом дожей и ухмылялся. Страх перегорел в нем, как перегорает зерно, оборачиваясь пьяной брагой. Он чувствовал – в жилах его бродит хмель жизни. Вот подойдет он, Тимошка, ничтожный русский человечиска, совсем никакой, да чего там! – погань, последняя тварь, а вот подойдет к золотым дверям, хватит в них кулаком и такое скажет, что все засовы разомкнутся и поведут его под белые рученьки яства кушать с золота, с княжских, невообразимых для простого звания столов.

Море сверкало, как серебряная тарелка. И поглядев на море, на корабли, на каменный столб со львом, пошел Тимошка мимо дворца в церковь Святого Марка.

Он решил это только что, но и сам понял – хорошо решил. У царей он уже бывал, и было ему от них – один сказ: держи, стража, молодца, пока сам на себя молодец не поклепает.

В сей далекой стране так мало знают о Московии, что не только самозванцы, но и первейшие самородные бояре для государского дела не сгодились бы, а вот у церкви ум, как волосы у девки, – долог. Для римской церкви – Москва хуже бельма. У римской церкви к Тимошке мог быть интерес.

2

Его привезли в Рим, поместили в келии францисканского монастыря и словно бы забыли. Он чувствовал: не забыли – следят, а потому по утрам и вечерам молился, днем бродил по

городу, неприметный в толпе. Если что и выдавало в нем человека нового в городе, так это ненасытные глаза.

Он бродил по колоннаде соборной площади, дотрагиваясь до каждой колонны. Он прикасался руками к статуям, храмам. Он, оставшись один в келии, вдруг произносил названия улиц, мостов и площадей, знаменитых строений, упиваясь сочетанием звуков.

– Видони Каффарелли! – вскрикивал он и, улыбаясь, полужакрыв глаза, слушал, словно звуки не умерли тотчас, а витают над ним, и он радовался их полету. – Санта-Мария дель Анима! Сант-Элиджо дельи Орефичи!

Он никогда не простаивал подолгу перед знаменитыми творениями. Более всего его тянула к себе Пьета. Он тревожно оглядывал ее издали, словно искал изъян в этом совершенном мраморе. Потом, подходя очень близко, стоял с минуту-другую совершенно безучастный, глядя в себя, в свое прошлое. Быстро окидывал взглядом безжизненное тело, фигуру скорбящей Матери, дотрагивался до пьедестала рукой и уходил.

Если где подолгу простаивал и просиживал странный чужеземец, так это на обочине Аппиевой дороги.

Дороги действовали на него, как магия, а у этой было три конца: туда и обратно и еще в вечность, в канувший Рим. Когда дорога была пустынна, Тимошка выходил на середину и глядел вдаль, тянулся к этой дали, не смея сделать к ней ни единого шага. Потом оборачивался в другую сторону и снова обмирал, покуда не появлялась какая-либо повозка, всадник или пеший. Тогда он уходил с дороги прочь, не оглядываясь и словно бы оскорбленный. Он ревновал дороги, как ревнуют самых дорогих и самых непостоянных женщин.

Наконец о нем вспомнили. Стал приходить к нему монах, говоривший по-польски. Учил латыни, итальянскому, рассказывал о святых подвигах Франциска Ассизского.

К языкам русский был столь способен, что монах всякий раз приходил в изумление. Но вот легенды об основателе ордена «нищеты и любви» ученик слушал рассеянно, а если и собирал свое внимание, то язвительная усмешка начинала кривить ему губы.

– Огромные страдания святому доставляла болезнь глаз, – преподавал очередную порцию жития монах, – римский папа Гонорий, удалившийся в то время от безумных римлян в Риете, пригласил святого отца показаться своим лекарям. На пути к Риете Франциск по причине обострившейся болезни около месяца жил в монастыре Сан-Дамиано. Святые сестры построили ему во дворе шалаш из тростника, и он, совершенно ослепший, жил в нем. Здесь его тревожила другая напасть – мыши. В тех краях произошло нашествие мышей, и мерзкие твари бегали по лицу слепого, не давая ему покоя ни днем ни ночью. Но именно в эти дни испытаний, когда для святого померк свет божий, он сложил великий свой гимн о красоте солнца и луны.

– Святые сестрицы могли бы и позаботиться о старце! – сказал русский и встал. – Довольно с меня сказок! Я, русский царевич, вынужденный искать спасения от длинных рук московских узурпаторов на чужбине, хочу наконец видеть людей своего круга. Я хочу говорить с ними про тайны государственной власти и о прочих материях, о которых, святой отец, ты, отрепавшийся от мирских дел, не имеешь понятия.

Монах прекратил беседу и удалился, но на следующий день он пришел один, и русский выставил его из келии, заперся, отказываясь от пищи.

3

На третий день голодовки за ним пришли и отвезли к епископу.

– Мне поручено узнать твое имя, твою историю и твои притязания, – сказал епископ по-русски.

Тимошка Анкудинов, радуясь родному слову, чуть было не выпалил истинное имя свое, но схватил его с кончика языка и проглотил.

– Я есть, – сказал он, облизывая пересыхающие губы, – сын государя всея Руси Василия Шуйского, Иоанн Синенсис, если говорить на языке благородной латыни. Если же говорить на русском языке, то зовут меня Иван Шуйский.

– А я есть епископ Савва Турлецкий, – назвал себя церковный вельможа. – Его святейшество повелел спросить тебя: как ты очутился в Венеции и о чем ты хочешь просить его святейшество?

– Единственное мое желание ныне – очиститься святым крещением от великого греха, ибо, спасая жизнь, я принял магометанство и надо мной совершено обрезание.

– Но сын мой! Московские базилевсы – ортодоксы базилевсов византийских. В Риме можно креститься по обряду Римско-католической церкви, которая Москве ненавистна! – Савва Турлецкий наслаждался своей ролью. Его пребывание в Ватикане затянулось, он и не торопился в горящий свой дом: лезть в огонь – разумно ли? В Риме считали, что разумно. Отъезд на родину был уже назначен Турлецкому, но он умел находить для себя дела очень важные, очень всем нужные.

– Ради того чтобы вернуть престол моему роду, я могу принять не только иудейскую веру, но даже язычество, – сказал Тимошка и спохватился. – Все беды мои и моего народа – наказание Божье. Ваше преосвященство, римско-католическое исповедание мне ближе всего! Оно величаво и воистину свято. Получив мой престол, я жизнь мою положу, но добьюсь того, что народ мой русский образумится и, пробудясь от шестисотлетнего сна, примет веру, исповедуемую в христианском Риме. Он навсегда отвернется от Константинополя, превращенного турками в огромную конюшню.

«Мерзавец! – восхитился про себя Савва Турлецкий. – Этот долго еще не потонет, как не тонут в воде испражнения».

– Я сам крещу тебя, сын мой! – изрек Савва Турлецкий, разглядывая милое славянское лицо самозванца.

«Ему бы в дьяконы, чтоб бабы вздыхали, а он сдуру – в цари».

4

Через неделю Тимошку крестили. Еще через неделю позвали для тайного разговора.

В огромной комнате, совсем потерявшись, сидели трое в монашеской одежде. Говорили ласково, но строго. Ответы слушали до последнего слова. Говорили о беде Польского королевства, о Хмельницком. Говорили о всеобщем беспокойствии. В Англии война, и по всей Европе война. В Турции убит падишах. В одной Москве спокойно. Но нет такого спокойствия, кроме смертного, которое не разрушается в единый день.

И объявлено было Тимошке: ехать к Хмельницкому, дружбы искать у гетмана.

– Но ведь он гонитель истинной римско-католической веры!

– А тебе и не следует вступаться за Рим и за папу, – ответили святые отцы. – Что бы казаки ни говорили, ты всегда должен быть на их стороне. О своем же деле надлежит помнить, носить его в себе и при удобном случае звать казаков, не скупясь на посулы, в поход на Москву, добывать тебе царский престол. Но это тоже для отвода глаз. Казаков нужно увлечь на войну с Турцией. Для этого надобно им рассказывать о Венеции, сулить такие деньги, какие казакам никто и никогда не плачивал за наем на войну.

От святых отцов пошел Тимошка на Аппиеву дорогу.

Стоял на ней, улыбаясь бесшабашно: жизнь сулила перемены. Где-то, загнанная в закуток, копошилась мыслишка: для какой своей цели пустил его, как карту по столу, мудрый Рим?

– А тебе-то что?! – громко сказал Тимошка, не в силах унять радости.

Он одно знал твердо. Что бы ни случилось, но уже нельзя у него, Анкудинова Тимохи, московской приказной строки, отнять увиденного: Литвы, Молдавии, Туретчины, Венеции, Рима.

– А теперь Украине быть! – Привычка разговаривать с самим собой, нажитая в турецкой тюрьме, вдруг покорила его.

Он пошел прочь, но остановился и подмигнул дороге.

– Молдавский Лупу не сожрал, визирь не удавил, папа не сгноил в темнице, глядь и Хмель саблей башки не снесет.

Екало сердце у Тимошки. Сны ему стали сниться нарядные, дурные. То с московским царем, на одном троне сидя, кутью ел. То на белом коне в Истамбул въезжал. А один сон трижды ему снился. Сидит он за столом в царской палате. Служат ему слуги многие. Приглядывается он к ним, страх затая. И видит, что один слуга – московский царь, а другой слуга – турецкий Ибрагим, задавленный янычарами, третий – господарь Лупу, четвертый – немецкий принц...

Однажды его разбудили среди ночи и повели.

Стоял посреди залы стол. Длинный, конца не видно. На столе одна свеча.

– Расскажи о себе все без утайки, – раздался из тьмы голос.

– Я Иван Шуйский, в святом крещении назван Тимофеем, сын Василия Домитияна Шуйского, который вел род от князей города Шуи. Родился я в Новгороде-Северском, в Польше, ибо мой царственный родитель жил в плену. Таким образом, являюсь наследственным владельцем Северной Украины. Когда я, спасаясь от преследования московских узурпаторов, жил в Константинополе, великий визирь уговаривал меня подарить Турции Астраханское и Казанское царства, обещая дать мне за это триста тысяч войска для похода на Москву. Я не мог принять этого предложения, ибо мои предки называли Московскую землю своим отечеством.

– Теперь изложи нам подлинную свою жизнь, – раздался голос. – Любое отклонение от правды будет расценено как измена Святому престолу, и расплата последует незамедлительная.

– Какая? – вырвалось у Тимошки.

– Тебя сожгут на костре.

Тотчас во тьме, в дальнем углу этого пронизанного мраком помещения, вспыхнули сине-зеленые языки особо лютого огня.

Тимошка вспотел. Он вспотел весь, от корней волос до лодыжек. Ему казалось, пот сочится даже с его худых длинных пальцев. Хотелось посмотреть на руки, но страх убил в нем всю силу.

– Я родился в Вологде, – сказал Тимошка. – На Русском Севере. Отец мой Демка торговал полотном. Голос у меня был, да и теперь есть... Пел я хорошо.

Тимошка говорил все это, глядя на сине-зеленый огонь, который так его напугал и который теперь, заволаживая, успокаивал.

– За мой голос меня взяли в дом архиепископа. Стали учить грамоте, в которой я преуспел.

Тимошка умолк, щуя глаза, уставшие от света большой свечи, стал вглядываться в сумрак: да кто же его спрашивает?!

Разглядел вдоль стены резные высокие стулья, как соборы со шпильями.

– Не отвлекайся! Рассказывай! – Слова стегнули так, словно по ногам злой пастух кнутом жиганул.

– Я был у архиепископа Варлаама за младшего сына. У него родной был сын, прижитый в миру. Отдали за меня дочь этого сына, и оттого пошли все мои беды. Я возгордился, стал называть себя, когда пьян был, наместником Великопермским... Когда владыка помер, промотал я все состояние моей жены и, спасаясь от нужды, пришел в Москву. Здесь был у меня друг – дьяк приказа Новой четверти. Он меня взял писцом, а потом, за прилежание мое и честность, воз-

высил. Стал я принимать деньги, поступавшие из кабаков и кружечных дворов... Кто состоит при деньгах, имеет великий соблазн, но к деньгам я был равнодушен и так бы и прожил жизнь, когда бы не сыскался товарищ.

Тимошка замолчал.

– Зачем вам все это? – спросил у стены из шатровых стульев. – Не довольно ли будет?

И тотчас сине-зеленый огонь вспыхнул ослепительным белым пламенем, осветив бескрайнюю высоту черных стен. Не ответили.

– Я взял много денег из казны. Взял смело, а проверки испугался. Пошел к своему куму Ваське, наврал ему с три короба. Гость, мол, приезжает, дай на денек жемчужное ожерелье твоей жены да всякие другие безделицы, чтобы моей жене было в чем перед гостем показаться.

Белый огонь опал, сине-зеленые языки тоже стали меньше. Тимошка успокоился. «Черт с вами, – думал он, – жизнь моя вам надобна. Подавитесь!»

– Стоили украшения более тысячи ефимков, но оказалось, что весь свой долг казне я покрыть уже не могу. Кум стал спрашивать безделушки назад, а я стал отпираться: не брал, мол. Поташил он меня в суд, только ничего доказать не мог. Так бы все и сошло. А стыд я потерял. Но жена моя пригрозила мне доносом. Тогда я отнес ночью сынишку к Ивану Пескову, приятелю моему, а свой дом, что находился на Тверской, близ подворья шведского резидента, запер со всех сторон и сжег. Вместе с женой. Сам бежал к полякам. Поляки выдали меня молдавскому господарю, а тот отправил меня к великому визирю. Московские послы узнали обо мне и стали требовать выдачи. Я бежал. Меня поймали, грозили смертью. Тогда я принял ислам, правда без обрезания. Когда же и второй побег окончился неудачей, я, спасая жизнь, обрезался. Но меня посадили в тюрьму. Сидел я три года. Потом янычары удушили султана Ибрагима и всех страдалцев отпустили на волю. Из Константинополя я бежал морем, был подобран венецианцами. Остальное вы знаете.

Язычок свечи хлопал, исчезали и вновь вытягивались сине-зеленые языки огня в дальнем конце залы.

– Ты сказал все? – спросили Тимошку.

– Все! – ответил Тимошка с вызовом.

Покаянный рассказ не опустошил, в нем клокотала злоба.

«Я, морочивший головы всяким владетелям и начальникам, неужели я дурее всех вас, спрашивателей? Я достоин занять любое место в этом мире, даже царское. По уму достоин!»

Раздались шаги. Появился провожатый. Взял Тимошку за плечо:

– Пошли.

Привел его обратно в келию.

Тимошка лег в постель и, ни о чем не думая, заснул.

Утром ему сказали, чтобы завтра он готовился к отъезду, спросили о пожеланиях.

Тимошка не промахнулся:

– Мой человек Костька Конюхов, с которым мы в Истамбуле в тюрьме сидели и вместе бежали от турок, в Венеции прозябает. Я хочу, чтобы его достали и вернули мне, потому что он мой слуга.

Никто Тимошку более не задерживал, и он отправился бродить по городу. Долго стоял на мосту Сант-Анджело, смотрел, как кипятится невесть отчего Тибр – латинская река.

«И люди здесь такие же, – подумалось Тимошке. – Все чего-то шумят, чего-то все спорят... То ли дело Москва...»

Он вспомнил плавный накат Москвы-реки, шум ее базаров, иной шум. В том шуме не было страсти, нервишек, там шла иная игра в жизнь. Жизнь давно уже казалась Тимошке игрой. Настоящая жизнь его осталась в Вологде, в доме батюшки-матушки, а потом все игра была, одна игра.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.